

A complex movie poster for 'The Longinus Spear'. The central figure is a man with a long beard and hair, looking upwards. To his right, a woman with long dark hair and a red headscarf looks forward. Below them, a man with dark hair and a woman with blonde hair and large white angel wings look upwards. A large, ornate spear with a glowing tip is positioned vertically in the center. The background is a collage of images: a city on a hill, snow-capped mountains, a lake with a church, a dark gothic castle, and a modern laboratory with a DNA helix on a screen. The title 'Алишер Таксанов' is written in white Cyrillic script across the top, and 'НАКОНЕЧНИК ЛОНГИНА' is written in large, golden Cyrillic letters at the bottom.

Алишер Таксанов

НАКОНЕЧНИК
ЛОНГИНА

Алишер Таксанов

Наконечник Лонгана

«Автор»

2026

Таксанов А. А.

Наконечник Лонгана / А. А. Таксанов — «Автор», 2026

Древняя реликвия, тайны которой способны изменить представление о жизни, смерти и самой природе Бога. Обычный почтовый служащий Марк Симмен неожиданно оказывается втянут в опасную игру, где переплетаются древние легенды, научные загадки и силы, существование которых невозможно объяснить. Ангелы и бессмертные, тайны прошлого и угрозы будущего — у каждого своя цель, и не все готовы раскрыть правду. Но почему именно Марку доверена судьба загадочного артефакта? И какую цену придётся заплатить тому, кто осмелится прикоснуться к тайне, пережившей тысячелетия?

© Таксанов А. А., 2026

© Автор, 2026

Алишер Таксанов

Наконечник Лонгана

Алишер ТАКСАНОВ
НАКОНЕЧНИК ЛОНГИНА

ПО ТУ СТОРОНУ СИГНАЛА
(Мистический рассказ)

«Иногда жизнь уходит за горизонт, но оставляет окно для прощания».

Это случилось в обед. Я первый день, как вернулся на работу. Все, что случилось ранее, все еще тянуло тяжким грузом в сердце, словно внутри поселился камень, который невозможно ни вынуть, ни расколоть. Но нужно было сосредотачиваться и встраиваться в прежний ритм: встречи, цифры, дедлайны, звонки. Просто жизнь стала немного иной — тише, жестче, пустее.

За утро я определил новую стратегию выхода нашей продукции на европейский рынок: скорректировал ценовую сетку, учитывая колебания валют, обсудил с юристами сертификацию и риски, связанные с регуляторами ЕС, а с маклерами из отдела логистики — маршруты поставок. Возможно, понадобится фрахт: аренда судна под наш груз, контейнеры, расписание портов, страховка от задержек и штормов. Раньше подобные разговоры будоражили меня, сейчас же они проходили будто сквозь вату.

Все это я успел сделать за четыре часа, а потом поднялся в кантину и сел рядом с коллегой из бухгалтерии. Мы взяли из меню общее: курицу, запечённую с травами, картофель с розмарином, овощной салат с оливковым маслом и кувшин холодного апельсинового сока. Простая, нейтральная еда — без изысков, как будто сама столовая старалась не привлекать к себе внимания.

Эллин сидела напротив. Ей было около тридцати пяти: аккуратная стрижка, светло-каштановые волосы, собранные в низкий хвост, мягкие черты лица и внимательные, немного печальные глаза. Она всегда говорила негромко и смотрела прямо, словно боялась упустить важную деталь в собеседнике.

Эллин посмотрела на меня и сказала:

— Эдвард, мои соболезнования.

— Спасибо, — кивнул я. Мне трудно было пережить ту трагедию, что произошла неделю назад.

— Ты утратил жену, а твоя дочь Карин — маму, — продолжала Эллин. — Может, нужна помощь?

— Спасибо, мы справимся, — улыбнулся я, и вне моего желания всплыли кадры похорон: тёмный гроб, блестящий от дождевой воды, черные зонты, люди с опущенными головами, вязкая грязь под ногами. Кладбище казалось бесконечным, серым, словно выцветшим. Священник читал молитву, его голос терялся в шуме дождя, а слова «прах к праху» звучали слишком окончательно. В тот момент я понял, что прощание — это не действие, а состояние, которое не заканчивается.

— Я понимаю, — тихо произнесла Эллин. — Но мы, коллеги, поддержим тебя. Не стесняйся — обращайся!

— Спасибо, — снова кивнул я. Мне не хотелось продолжать разговор на эту тему. Слишком больно было вспоминать это...

Мою жену сожрал рак. Метастазы не удалось остановить. Маргарет ушла в течение недели — быстро, жестоко, не оставив времени привыкнуть. Она держалась, хотя нейрохирург

честно сказал ей: вам осталось немного — попрощайтесь с родными. И она, отплавав одну ночь, простилась с нами.

Моя двенадцатилетняя дочь Карин плакала так, что у меня сжималось горло и темнело в глазах. Но как отец я должен был держаться: не показывать слабости, не позволять себе развалиться, ведь теперь все зависело от меня — ее завтрак, ее сон, ее будущее.

Три дня мы провели в тишине. Дочь не ходила в школу, замкнувшись в себе. Она лежала на кровати, прижав к груди смартфон, пересматривала фотографии, прокручивала видео, где она с мамой на Канарских островах: солнечный свет, песок, Маргарет смеется, ветер играет ее волосами. Иногда Карин слабо улыбалась — так улыбаются сквозь слезы, будто бояться спугнуть воспоминание.

А потом пришла пустота.

Я с трудом заставлял ее принимать пищу — у нее совсем не было аппетита. Я боялся, что она утонет в тоске по маме, и хотел создать хоть какую-то, пусть и грустную, но живую атмосферу. Мы ходили в кино, молча держась за руки. А потом вместе пекли пирог — яблочный, с корицей и ванилью, тот самый, который раньше готовила Маргарет. Тесто липло к пальцам, духовка тихо гудела, а запах выпечки наполнял кухню болезненно знакомым теплом.

— Знаешь, вам нужно поехать... — начала говорить Эллин, отпивая сок.

Я вилкой вяло ковырял курицу в тарелке. Было понятно: советы от женщины направлены больше для меня, чем для дочери. Сейчас Элина вела себя как психотерапевт, аккуратно подбирая слова.

В это время раздался щелчок смартфона — пришло сообщение в WhatsApp.

— Секунду, — прервал я коллегу, подтягивая к себе «Самсунг». — Это, наверное, дочь...

Я посмотрел на экран — и у меня все застыло внутри.

Горел сигнал: Маргарет.

На WhatsApp был ее аватар — улыбающееся лицо в красной шляпке. Я не стер его, оставив как память. И почему-то этот абонент работал. Зеленая точка была слишком яркой, слишком живой.

Я тупо смотрел на экран и не мог пошевелиться, словно время вокруг меня остановилось. В ушах зашумела кровь, пальцы похолодели. Эллин с удивлением смотрела на меня — она не видела, что сигнал шел от моей умершей жены.

А телефон в моей руке тихо светился, будто дышал.

Я осторожно взял со стола телефон. Эллин с удивлением смотрела на меня, не понимая, чем я так ошарашен. Я открыл WhatsApp — и увидел сообщение:

«Где Карин? Почему она мне не отвечает? У нее все в порядке?»

Я гулко сглотнул. В горле пересохло, словно я вдохнул пыль. Пальцы дрожали так, что экран едва не выскользнул из рук, а перед глазами поплыли серые «мухи», будто кто-то резко выкрутил яркость мира на минимум. Сердце билось слишком громко, не в такт — как чужое.

— Что с тобой? — спросила коллега.

Я не ответил. Вместо этого набрал, делая ошибки и тут же стирая буквы:

«Кто это?»

Ответ появился сразу, без задержки, словно собеседник ждал.

«Что за дурацкий вопрос, Эдвард? Где Карин? В школе?»

— Похоже, кто решил подшутить надо мной, — сердито пояснил я Эллин, показывая ей экран.

У нее глаза полезли на лоб. Лицо побледнело, губы приоткрылись, а брови взметнулись вверх, словно она смотрела не на текст, а в открытую рану.

— Разве на такие темы шутят?.. — дрожащим голосом спросила она. — Ты можешь подать заявление в полицию! Это выходит за рамки всякой морали!

Но сообщения стали появляться быстрее, чем я успевал их осознать — одно за другим, будто поток сознания, сорвавшийся с цепи:

«Эдвард, где?.. Почему так темно?.. Я ничего не вижу!.. Почему я лежу на жесткой кровати? У меня спина и затылок болят!..»

— О боже... что это? — прошептал я.

Эллина со страхом смотрела на экран, словно буквы могли выползти наружу. Я стал набирать, чувствуя, как холод расползается по позвоночнику:

«Что за глупые шутки? Я сейчас обращусь в полицию!»

Ответ пришел почти мгновенно:

«Ты дурак, Эдвард? При чем тут полиция? Где я? Почему я скована в каком-то ящике? Мне освещает пространство смартфон. Но батарея уже скоро сядет...»

Меня била мелкая дрожь. Не истеричная — нет, какая-то животная, глубинная, будто организм понял опасность раньше разума. Хотелось встать и бежать, но ноги словно приросли к полу, а ладони покрылись липким потом.

— Это точно пишется с адреса Маргарет? — спросила Эллин.

Она тоже была вся на нервах: дыхание сбилось, пальцы судорожно сжимали салфетку, голос дрожал, но она пыталась держаться, цепляясь за логику, как за спасательный круг. — Вы закрывали ее абонентский номер?

— Нет, — ответил я. — Не успел. Не до этого было.

— Может, телефон у какого-то хулигана? — продолжала коллега. — Ты кому отдавал ее телефон?

— У нее был айфон... — медленно сказал я, вспоминая марку и модель. Айфон двенадцатой серии, черный, с тонкой трещиной в углу экрана — я сам уронил его однажды на плитку в кухне. — Но... но...

Слова застряли в горле, словно пробка. Я перестал дышать, грудь сдавило. Мир сузился до боли в легких. Пришлось бить себя по груди, резко, неловко, чтобы протолкнуть воздух обратно внутрь.

— Что? — резко спросила Эллин.

— Карин... прощаясь с матерью, положила айфон в гроб, — медленно произнес я.

Я увидел, как ее глаза расширяются от ужаса, как отступает кровь от лица.

— Как это?..

— Это я помню точно, — прошептал я, стараясь унять дрожь в теле. — Она сказала: «Мама не должна быть одна».

Эллин на секунду закрыла глаза, потом тряхнула головой, собираясь:

— Стоп, Эдвард! Твоя супруга умирала. У нее были метастазы. Врачи засвидетельствовали смерть! И она несколько дней была в морозильнике, прежде чем ее поместили в гроб и похоронили... Это невозможно. Она мертва.

Но в тот же миг экран снова вспыхнул.

«Эдвард, что произошло? Почему не отвечаешь? Где я? Где Карин?»

И на этот раз мне показалось, что телефон в моей руке стал тяжелее — будто внутри него лежало не сообщение, а сама тьма.

Я набрал:

«Ты кто?»

Несколько секунд не было ответа — пауза растянулась, стала вязкой, тревожной, будто на другом конце экрана человек перечитывал вопрос снова и снова, не понимая, как на него реагировать. Экран потух, затем снова загорелся.

Потом пошли строки:

«Не поняла, Эдвард. Ты решил поиграть со мной? Ты не на работе? Ты что, с ребятами где-то тусуешься? На Роузштрассе?»

У меня внутри все оборвалось. Про Роузштрассе знала только она. Это было мое тайное место — старая квартира на третьем этаже, с облупленными стенами, высокими потолками и окнами во двор-колодец. Там всегда пахло пылью, маслом и терпентином. Я сидел у окна с мольбертом, рисовал углем и акварелью, слушал дождь и прятался от мира. Маргарет иногда приносила мне туда кофе и молча целовала в макушку. Никто больше не знал об этом адресе.

Шутник этого знать не мог. И поэтому страх сковал мое сердце ледяным обручем.

«Эдвард, так в чем дело, черт побери!!! Почему ты мне странно отвечаешь?»

Эллин молчала, не задавая больше вопросов, и смотрела на меня так, будто я медленно исчезал у нее на глазах. Я набрал, почти не чувствуя пальцев:

«Маргарет... это ты?»

Ответ пришел со смайликом — не веселым, а злым, перекошенным:

«Эдвард, а кто еще? Отвечай давай, у меня на батарее 5% энергии. Я в каком-то ящике. Где мне зарядить айфон?»

Я стиснул зубы и набрал:

«Врешь. Ты не Маргарет!»

Ответа не было минуты три. Эти три минуты растянулись в вечность. Я слышал, как кровь стучит в висках, как где-то в столовой звенит посуда, но все это казалось далеким, нереальным.

Потом снова появились фразы:

«Странный ты какой-то, Эдвард. Впрочем, это твои проблемы. Где Карин?»

Я написал резко, с нажимом:

«Карин в школе. Но тебя это не должно волновать!»

«Почему?» — появился символ недоумения, маленькое желтое лицо с приподнятой бровью, неуместное и почти издевательское.

Я яростно ответил:

«Потому что моя жена мертва! И хватит издеваться надо мной! Я и так весь на нервах! У меня до сих пор душевная травма, а ты, мерзавец, мучаешь меня. Что тебе нужно — деньги?»

Меня трясло от гнева. Руки дрожали, слова вырывались сами, будто я пытался выжечь этим текстом чужое присутствие. Я убеждал себя, что это какие-то хакеры: взломали старый номер, подменили профиль, нашли информацию в облаке, вытащили детали из памяти телефона. Логика цеплялась за любые объяснения — лишь бы не признавать невозможное.

«Мертва? Что за глупости?.. Почему я лежу в темноте? Лишь экран айфона светит мне...»

Я с силой ткнул в экран, почти промахиваясь по клавишам:

«Еще одно сообщение — и я звоню в полицию! Тебя найдут и накажут! Я сделаю все, чтобы тебя наказали!»

Я писал быстро, с ошибками, не исправляя их. Эллин молчала, наклонившись ближе, читая каждую строку. Ее губы побелели, а пальцы непроизвольно сжались в кулак.

«Самсунг» некоторое время молчал. Эта пауза была хуже слов — тяжелая, звенящая. Потом сообщения стали появляться снова, уже осторожно, словно нащупывая почву:

«Эдвард... Ты помнишь нашу первую встречу? Это было в университете...»

Я застыл. Перед глазами всплыл тот день: длинный коридор факультета, запах мела и старых книг. Я нес стопку папок, спешил на лекцию и не смотрел по сторонам. Мы столкнулись у лестницы — бумаги разлетелись, она прыснула смехом и присела, помогая мне их собирать. У нее были светлые волосы, заплетенные в небрежную косу, и синие пятна чернил на пальцах.

— Вы всегда так эффектно входите в чужую жизнь? — сказала она тогда.

И я улыбнулся впервые за долгое время.

Я с изумлением посмотрел на коллегу.

— Это правда? — спросила Эллин.

— Да... — тихо ответил я.

И дальше текст продолжал набираться в WhatsApp:

«А помнишь, как мы отмечали Рождество на квартире твоей бабушки? Тогда нашей дочери было пять лет. Ты испугал ее одеждой Санта-Клауса»

Я снова увидел ту сцену: тесная кухня, пахнувшая корицей и мандаринами, старая гирлянда мигает через раз. Я вышел из комнаты в красном колпаке и с накладной бородой, громко «хо-хо-хо» — и Карин сначала застыла, а потом расплакалась, спрятавшись за Маргарет. А через минуту уже смеялась, дергая меня за бороду и крича, что Санта ненастоящий.

Я выдохнул и написал всего одно слово:

«Помню»

— Не отвечай, — резко остановила меня Эллин. — Возможно, это злоумышленник давит на тебя через твои эмоции. Это ловушка...

Но экран продолжал светиться:

«Тогда я сказала тебе: „Эдвард, ты смешной!“ — и обняла тебя. И Карин поняла, что ты папа, и запрыгала...»

— Этого никто, кроме нас, не мог знать, — тихо сказал я, глядя Эллин прямо в глаза.

Кантина постепенно пустела. Стулья задвигали под столы, кто-то смеялся у выхода, кофемашина замолчала. Табло над дверью отсчитывало начало рабочего времени — сухие красные цифры безжалостно напоминали, что мир идет дальше. А мы все сидели за столом, с остывшей едой, будто выпав из реальности.

— Может, это летаргический сон?.. — неуверенно предположила Эллин и тут же покачала головой. — Нет, это невозможно.

— Чего? — не понял я.

— Летаргический сон, — тихо объяснила она, — это состояние, при котором человек выглядит мертвым: дыхание почти не определяется, пульс крайне слабый, тело холодное. Иногда такое состояние длится часами или днями... В прошлом людей даже хоронили заживо.

Я медленно развязывал галстук — он вдруг стал невыносимо тесным, словно затягивался сам по себе. Воздуха не хватало, грудь сдавливало.

— Ты думаешь... моя жена уснула? — почти прошептал я.

— Медицина знает такие случаи, — ответила Эллин. — В XIX веке из-за этого появились «предохранительные гробы» с колокольчиками. Были зафиксированы редкие современные эпизоды глубокой кататонии и летаргии, когда людей ошибочно признавали мертвыми... Но, Эдвард...

Она замолчала.

А мой телефон в руке снова тихо завибрировал.

«Эдвард... Скажи мне правду... Где я?»

Я молчал. Экран дрожал в моей руке — или это дрожал я сам. Потом я поднял глаза на Эллин.

— Мы едем на кладбище, — тихо произнес я и резко вскочил со стула.

— Зачем?! — Эллин вскочила следом и схватила меня за руку.

— Не трожь меня! — крикнул я, лихорадочно шаря в кармане в поисках ключей от «Форда».

Но она вцепилась в меня крепче.

— Стой, дурак! Она в могиле!

— Ее закопали заживо! — заорал я так, что голос сорвался.

Повар — полный мужчина в белом колпаке и с красным от жара лицом — испуганно выглянул из кухни. Его глаза округлились, он замер на секунду, будто увидел безумца, а потом резко юркнул обратно и захлопнул дверь. Через мгновение щелкнул замок, и за стеклом мелькнула его тень — он наблюдал из укрытия, боясь выйти.

Но мы уже не обращали на него внимания.

— Что ты будешь делать?! — шипела Эллин, не отпуская меня. — Выкопаешь ее? Тебя арестуют за надругательство над могилой! Над трупом!

— Не смей мою жену называть трупом! — зло выкрикнул я. — Маргарет жива — и ты это видишь!

Я ткнул ей «Самсунг» прямо в лицо. Экран светился, будто живой.

Эллин тяжело вздохнула и медленно отпустила меня. Я застыл, будто силы вдруг закончились.

— Эдвард... — сказала она мягче. — Для полиции это не факт.

В ее глазах светилась грусть, почти материнская.

— Тебя арестуют, а дочь отнимут. Ты этого хочешь? Тебя признают психически нестабильным...

При слове дочь у меня подкосились ноги. Я опустился обратно на стул, и слезы сами потекли по лицу — горячие, унижительные, неудержимые.

— Маргарет мертва, — тихо продолжала Эллин. — Ей делали вскрытие. Ты этого не знал?

— Нет... — прошептал я.

— Это обязательная процедура по закону, — сказала она. — В случаях смерти от тяжелого заболевания проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы исключить врачебную ошибку или насильственную причину смерти. Вскрывают всех.

Она сделала паузу.

— Если бы Маргарет была в летаргии, она бы умерла от скальпеля. Но у нее был смертельный приговор — метастазы. Она не спала, Эдвард...

— Но тогда что это?.. — спросил я, захлебываясь слезами. — Что это?!

Эллин посмотрела на меня долго, будто решаясь.

— Это твой последний шанс, — тихо сказала она. — Иногда людям с чистым сердцем дается возможность отправить сообщения тем, кого уже нет... тем, кого они любили больше всего.

Она кивнула на телефон.

— Используй его.

Я замер. Мир вокруг словно отступил. Потом я глубоко вдохнул, собрал мысли, дрожащими пальцами открыл чат и стал писать — медленно, аккуратно, вкладывая в каждое слово всю оставшуюся во мне жизнь:

«Милая моя... солнышко... моя крошка.

Я люблю тебя.

С Карин все хорошо. Она в школе. У нее большое будущее. Она учит корейский язык и поет кей-поп — ты это знаешь. Она будет великой певицей и посвятит свою деятельность тебе.

А ты... ты всегда будешь в моем сердце. Всегда.»

Я нажал «Отправить».

Спустя секунды пришёл плачущий смайлик — маленькое желтое лицо с дрожащими губами и двумя прозрачными слезами, катящимися вниз. Он выглядел почти живым, будто экран не передавал эмоцию, а плакал сам.

А я продолжал писать:

«Помнишь наше лето в Парагвае? Мы гуляли по набережной реки, и воздух был тёплым и влажным, пах рыбой, цветами и далёкими кострами. Вода медленно несла отражение города, а солнце опускалось к горизонту — огромное, огненно-оранжевое. Оно будто таяло, растворяясь в реке, и небо окрашивалось в розовое и фиолетовое. Ты держала меня за руку, и в тот момент казалось, что время остановилось, что так будет всегда... Тогда я не думал, что именно так — тихо, беззвучно — может уходить за горизонт и наша жизнь.»

Пришло два плачущих смайлика.

Эллин сидела, не двигаясь, затаив дыхание, словно боялась спугнуть последние слова, которые ещё связывали меня с ней. В кantine стало почти темно, лампы мягко гудели, и мир сузился до маленького светящегося экрана.

Я продолжал:

«Я люблю тебя...»

Прошло пару секунд — мучительных, тягучих.

И потом появилось последнее сообщение:

«Спасибо, любимый. Мне пора уходить. Мне дали возможность проститься с тобой. Береги нашу дочь. Сделай её счастливой. Не забывай меня... Прощай. Я люблю тебя... у меня не осталось энер...»

Строка оборвалась. Экран погас.

Я сидел, не двигаясь, с телефоном в руках, словно боялся, что если опущу его, исчезнет и всё, что только что было. В груди стало пусто, но эта пустота больше не была холодной. В ней поселилось тихое, светлое знание: Маргарет не в темноте, не в ящике, не в боли. Где-то там, за границей слов и сигналов, ей тепло и спокойно.

Слёзы текли по щекам, но в них не было отчаяния — только нежная, бесконечная тоска и благодарность. Я понял, что любовь не умирает вместе с телом, что она умеет прощаться шёпотом и уходить, оставляя после себя свет.

И в этом свете я должен был жить дальше — ради Карин, ради неё, ради нас всех.

(3 февраля 2026 года, Винтертур)

НАКОНЕЧНИК ЛОНГИНА

(Мистическая повесть)

Пролог. Три волхва

Пустыня простиралась до самого горизонта, теряясь в предрассветной дымке, и казалась бескрайним морем застывшего песка, над которым тысячелетиями властвовали солнце, ветер и безмолвие. Днём раскалённые барханы обжигали ступни даже сквозь толстую подошву сандалий, а воздух дрожал от зноя, искажая очертания далёких скал, но теперь, когда ночь вступила в свои права, песок стремительно отдавал накопленное тепло, уступая место сухому холоду, пробирававшемуся под одежду путников. Ветер, до недавнего времени едва ощутимый, перебирал мелкие песчинки на склонах дюн, словно невидимая рука перелистывала страницы древней книги, написанной задолго до появления первых человеческих царств. Изредка среди песчаных холмов выступали тёмные зубчатые гряды камней, похожие на руины забытых храмов, а там, где поверхность земли становилась твёрже, тянулись узкие тропы, проложенные караванами, купцами и паломниками, которые веками пересекали эти земли в поисках воды, богатства или ответа на вопросы, не дававшие им покоя.

По одной из таких троп двигались трое путников, чьи силуэты то поднимались на гребни барханов, то вновь исчезали за песчаными склонами. Они ехали на верблюдах — высоких, выносливых животных с широкими ступнями, позволявшими уверенно ступать по зыбкому песку, — и держались друг от друга на расстоянии нескольких шагов, чтобы не поднимать лишнюю пыль и не мешать животным выбирать дорогу. На спинах верблюдов покачивались дорожные тюки, обтянутые потемневшей кожей, бурдюки с водой и небольшие деревянные сундуки, обитые медными полосами; к седельным ремням были привязаны свёрнутые одеяла и мешочки с сушёными финиками, орехами и лепёшками, составлявшими их скудный дорожный запас. Каждый из путников был облачён в длинную одежду, приспособленную к суровым условиям восточных земель: широкие штаны скрывались под ниспадающими склад-

ками туник, поверх которых были надеты плотные плащи, защищавшие от ночного холода и песка. Их головы покрывали многослойные ткани, обёрнутые вокруг лба и подбородка, а лица, обветренные долгой дорогой, казались темнее в неверном свете звёзд. На плечах одного из мужчин лежал тёмно-синий плащ с тонкой вышивкой по краю, другой предпочитал одежду цвета выжженной глины, а третий, самый старший из них, был укутан в почти чёрную ткань, на которой поблёскивали крошечные металлические нити. В их облике не было ни показной роскоши, ни бедности странствующих отшельников: это были люди, привыкшие к почёту, учёности и долгим путешествиям, но сейчас они выглядели лишь усталыми путниками, чьи силы поддерживала цель, ради которой они оставили свои дома.

Их называли волхвами, хотя каждый из них происходил из иной земли и принадлежал к собственной традиции знания. Один прибыл из далёкой Персии, где при дворах царей толковали сны и следили за движением небесных светил; другой был родом из Вавилонии, чьи древние храмы хранили таблицы наблюдений за звёздами, передававшиеся от учителя к ученику на протяжении многих поколений; третий пришёл из земель, лежавших восточнее, за пределами известных большинству людей торговых путей, и славился умением читать знаки там, где остальные видели лишь случайное совпадение. Они не были ни братьями, ни давними друзьями, и прежде их пути едва ли пересекались, однако несколько месяцев назад каждый из них заметил одно и то же необычайное явление на ночном небосводе. Сначала каждый решил, что столкнулся с редким небесным знаком, который ещё предстояло истолковать, но последующие наблюдения, старые пророчества и расчёты, сделанные независимо друг от друга, привели их к одному выводу: на земле должен был родиться тот, чьё появление изменит судьбу народов. Не зная друг друга, они отправились в путь, а встретившись у караванного колодца, обнаружили, что их наблюдения удивительным образом совпадают. С тех пор сомнения не оставляли их, но уже не могли заставить повернуть назад.

В эту ночь над пустыней сияла звезда, ради которой они преодолели тысячи стадий пути. Она находилась высоко над горизонтом, однако казалась гораздо ближе остальных небесных светил, словно между ней и землёй не существовало привычной человеческому разуму бесконечной дали. Её свет был необыкновенно чистым, с золотисто-белым оттенком, и, хотя звезда не заслоняла собой другие созвездия в буквальном смысле, её сияние было столь ярким, что взгляд неизменно возвращался к ней, оставляя на периферии зрения рассыпанную по небу россыпь звёзд и бледную серебристую полосу Млечного Пути. Казалось, сама ночь выстроилась вокруг этого света, подчёркивая его значимость и придавая небосводу торжественную глубину, которой не замечали даже те, кто всю жизнь изучал небесные движения. В сиянии звезды чудилось нечто большее, чем редкое астрономическое явление: оно напоминало раскрытый над миром глаз, спокойный и всевидящий, чей взор обращён к земле не с гневом и не с милостью, но с бесконечным знанием обо всём, что когда-либо произошло и ещё только должно произойти. Для человека, случайно поднявшего голову к небу, этот свет мог показаться прекрасным предзнаменованием; для волхвов же он был зовом, который невозможно было спутать с чем-либо иным.

Старший из путников первым нарушил молчание. Он придержал поводья, и его верблюд, почувствовав ослабление натяжения, замедлил шаг, тяжело опуская широкие ступни на песок. Мужчина приподнял край головного покрывала, открывая лицо, изборождённое морщинами, и некоторое время всматривался в звезду, словно надеялся различить в её сиянии ответ, который ускользал от него с самого начала путешествия.

— Чем ближе мы подходим, тем меньше я уверен, что понимаю увиденное, — произнёс он наконец, обращаясь к спутникам. — В молодости мне казалось, будто мудрость состоит в том, чтобы найти правильное толкование каждому знаку. Я изучал движения планет, сравнивал записи древних учёных, искал повторения в событиях прошлого и верил, что однажды передо мной откроется порядок, которому подчинено всё сущее. Но эта звезда не укладывается ни в

один из известных мне расчётов, а пророчества, на которые мы опираемся, говорят о рождении царя, хотя ни один царь не может объяснить, почему ради его появления небеса должны были заговорить с людьми таким языком.

— Возможно, мы ошибаемся именно потому, что ищем царя там, где должен появиться нечто иное, — ответил мужчина в плаще цвета выжженной глины, чей голос звучал спокойно, но в глубине его слов ощущалось напряжение, накопившееся за долгие недели дороги. — Мы привыкли измерять величие властью, богатством и числом людей, готовых склониться перед правителем. Но в старых текстах говорится не только о царе, которому будут покорны народы, но и о том, кто принесёт свет тем, кто живёт во тьме. Возможно, речь идёт не о власти, которая заставляет человека повиноваться, а о силе, способной изменить его изнутри. Если это так, то нам следует искать не дворец и не войско, а место, где появление младенца покажется окружающим самым обыкновенным событием.

Третий путник, до сих пор молча слушавший разговор, негромко усмехнулся и поправил ремень, удерживавший на груди небольшой кожаный футляр с записями. Он был моложе остальных, хотя усталость дороги уже оставила на его лице глубокие тени, а в глазах поселилось выражение человека, которому пришлось пересмотреть слишком многие убеждения, чтобы безоговорочно доверять собственным выводам.

— Ты говоришь так, словно уже знаешь, что мы найдём, — заметил он. — Но разве не в этом заключается наша главная ошибка? Мы увидели необычную звезду, нашли в древних книгах слова, которые можно связать с её появлением, а затем убедили себя, что небеса указывают нам дорогу к определённой личности. Мы называем это пророчеством, потому что боимся признать, насколько мало нам известно. Что, если звезда означает не рождение спасителя, а гибель царства? Что, если она предвещает войну, чуму или падение тех, кто сейчас считает себя неприкосновенным? Небесные знаки редко бывают однозначными, и история знает немало правителей, погубивших собственные народы лишь потому, что приняли желаемое за волю богов.

Старший волхв не стал спорить. Он лишь посмотрел на молодого спутника с тем выражением терпеливой печали, которое появляется у человека, давно знакомого с сомнениями и потому не считающего их признаком слабости.

— Ты прав, — сказал он после небольшой паузы. — Мы не можем знать наверняка, что ждёт нас впереди. Возможно, мы действительно неверно истолковали знамение, и тогда нам придётся признать собственную ошибку и вернуться домой, если дорога позволит нам это сделать. Но есть кое-что, чего ты не учиываешь: я видел эту звезду задолго до того, как получил известие о наблюдениях вавилонских астрономов, и тогда мне приснился сон. Я стоял перед закрытыми воротами незнакомого города, а за ними слышал плач младенца. Когда ворота открылись, я увидел не дворец и не храм, а женщину, державшую ребёнка на руках. Лица её я не запомнил, но помню чувство, которое испытал в тот миг: мне показалось, что весь мир замер, ожидая, что произойдёт дальше. Я не решился рассказать вам об этом раньше, поскольку сон не является доказательством, однако теперь, когда мы почти достигли цели, я больше не вижу смысла скрывать его.

Молодой путник внимательно посмотрел на старика, и прежняя насмешка исчезла с его лица. Он хотел задать вопрос, но в конце концов лишь перевёл взгляд на звезду, чьё сияние теперь отражалось в тёмных глазах обоих его спутников. Ветер усилился, заставляя верблюдов беспокойно поводить головами, а края плащей затрепетали за спинами всадников. Где-то далеко, за невидимой чередой холмов, раздался протяжный крик ночной птицы, и на мгновение всем троим показалось, что пустыня прислушивается к их разговору. В этом безмолвном пространстве, где человеческая жизнь казалась лишь краткой вспышкой между двумя вечностями, слова о рождении младенца звучали почти дерзко, словно они осмелились предполо-

жить, что судьба мира может измениться не по воле могучих царей и не в результате кровопролитных войн, а благодаря появлению на свет одного-единственного ребёнка.

— Если это действительно тот, кого мы ищем, — тихо произнёс волхв в глиняном плаще, — то каким образом нам следует приветствовать его? Мы пришли издалека, оставив свои дома, учеников и обязанности, но ни один из нас не знает, что ждёт нас в конце пути. У нас нет приглашения от царя, нет подтверждения от жрецов, и мы даже не уверены, что найдём того, кого ищем, в городе, указанном древними пророчествами. Мы можем оказаться перед дверью бедного дома, за которой мать будет пытаться успокоить плачущего ребёнка, и тогда все наши знания, расчёты и толкования потеряют значение. Что мы скажем ей? Как объясним, почему трое незнакомцев пришли среди ночи, чтобы говорить о судьбе её сына?

— Мы скажем правду, — ответил старший. — По крайней мере ту её часть, которую способны понять сами. Мы расскажем, что увидели на небе знак, которого не могли оставить без внимания, и что древние слова привели нас к её порогу. Мы не станем требовать от неё веры и не будем убеждать её в том, чего не знаем наверняка. Если ребёнку суждено исполнить пророчество, то наши слова не сделают его судьбу иной, а если мы ошиблись, то никакие дары и никакие речи не оправдают нашего самонадеянного путешествия.

— А если пророчество окажется страшнее, чем мы предполагаем? — спросил младший. — Ведь свет, который ты видишь в своих снах, может оказаться слишком ярким для мира, привыкшего жить во тьме. Люди редко принимают то, что заставляет их усомниться в собственных убеждениях, а правители ещё реже позволяют появиться тому, чьё имя однажды может оказаться важнее их собственных имён. Если этот ребёнок действительно изменит ход истории, разве не найдутся те, кто захочет уничтожить его прежде, чем он успеет вырасти?

На этот раз старший волхв ответил не сразу. Он опустил взгляд на песок, по которому тянулись следы верблюдов, и подумал о том, как легко человек называет благословением то, что приносит ему надежду, и проклятием то, что требует от него жертвы. Возможно, младший был прав: рождение великого человека редко оставалось личным делом его семьи, а пророчество, однажды произнесённое вслух, могло превратиться в приговор для тех, чьё имя с ним связывали. И всё же старик не мог отделаться от ощущения, что их путешествие было лишь первым шагом в событии, масштаб которого они пока не способны постичь. Он поднял голову, вновь посмотрел на звезду и почувствовал, как внутри него смешиваются благоговение, тревога и странная, почти болезненная уверенность, что отступить теперь было бы равносильно предательству неведомой истины.

— Тогда тем более мы должны идти, — произнёс он наконец. — Если впереди нас ждёт радость, мы станем свидетелями её начала. Если нас ждёт опасность, мы хотя бы не отвернёмся от неё только потому, что боимся последствий. Мы не властны над тем, что произойдёт, и не можем изменить волю Творца, если действительно исполняем её. Но нам дано право выбирать, останемся ли мы в стороне, когда небо указывает дорогу. Я не знаю, кем окажется этот ребёнок и что принесёт миру его рождение, однако знаю, что ни один из нас не сможет вернуться к прежней жизни, не узнав ответа.

Слова старика не развеяли сомнений, но каждый из троих понял, что разговор подошёл к концу. Они направили верблюдов вперёд, и животные снова двинулись по извилистой тропе, оставляя на песке глубокие следы, которые ветер постепенно засыпал мелкой пылью. Звезда продолжала сиять над ними, словно неподвижный огонь, зажжённый на краю небес, и её свет сопровождал путников через тёмную пустыню, освещая склоны барханов и очертания далёких камней. Впереди лежала земля, где древние пророчества связывали будущее с именем небольшого города, и где женщина по имени Мария ещё не знала, что вскоре её жизнь станет частью истории, которую будут рассказывать на протяжении тысячелетий.

А высоко над пустыней, среди бездонной глубины ночного неба, продолжала гореть Вифлеемская звезда, и в её безмолвном сиянии можно было увидеть не обещание лёгкой судьбы,

но знак грядущих перемен, которым предстояло затронуть не только одного младенца и его мать, но и весь мир.

Дорога постепенно спускалась с каменистых возвышенностей, и пески сменились сухой, потрескавшейся землёй, на которой изредка встречались колючие кустарники и низкие оливковые деревья. С приближением рассвета ночная прохлада отступала, уступая место мягкому теплу, а на востоке, над далёкими холмами, небо начало медленно светлеть, окрашиваясь в оттенки тёмной меди и бледного золота. Путники провели в пути ещё несколько часов, почти не разговаривая, каждый погружённый в собственные мысли, и лишь время от времени старший волхв поднимал голову, проверяя, остаётся ли звезда на прежнем месте. Она по-прежнему выделялась среди бледнеющих светил, и даже когда солнечный свет стал заметен над горизонтом, её сияние не исчезло бесследно, словно невидимая нить продолжала связывать небеса с землёй, указывая направление тем, кто решился последовать за ней.

Когда впереди показались первые поселения Иудеи, путники уже чувствовали усталость, накопившуюся за долгие недели перехода. Дорога привела их к небольшому городу, где узкие улицы петляли между каменными домами, а плоские крыши, сложенные из глины и грубых балок, постепенно наполнялись утренними звуками. Из открытых дверей доносился запах свежего хлеба, женщины выносили к колодцам глиняные кувшины, торговцы раскладывали товары на низких прилавках, и первые покупатели неспешно обсуждали цены на масло, зерно и сушёные фрукты. Жизнь здесь текла привычным чередом, словно ничего необычного не происходило и небеса не посылали людям знака, ради которого трое чужеземцев пересекли пустыню. Волхвы не увидели ни торжественных приготовлений, ни царских посланников, ни толпы людей, ожидавших великого события, и это несоответствие между величием небесного знамения и обыденностью человеческой жизни заставило их вновь задуматься о том, насколько ограниченным может быть человеческое понимание предназначения.

Они расспрашивали встречных о семье, в которой недавно родился ребёнок, и о женщине по имени Мария, но далеко не каждый мог помочь им: в те времена рождение младенца в скромном доме редко становилось событием, заслуживающим внимания всего города. Лишь после нескольких разговоров один пожилой торговец, услышав их описание дороги и увидев странные знаки, которыми старший волхв помечал свои записи, вспомнил о молодой женщине, прибывшей сюда вместе с мужем из Галилеи. Он указал им направление и объяснил, где искать её семью, не подозревая, что его случайная помощь станет частью истории, о которой он сам никогда не узнает. Поблагодарив старика, путники двинулись дальше, ведя верблюдов за поводья, поскольку улицы становились слишком узкими для животных, нагруженных дорожными тюками и сундуками.

Тем временем Мария находилась в небольшом помещении, где пахло сухой соломой, древесиной и тёплым молоком. Усталость после родов ещё не отпустила её, и каждое движение требовало усилий, однако, когда она смотрела на младенца, лежавшего рядом, тревога отступала, уступая место тихому изумлению перед тем, как мало может весить на руках человеческая жизнь и как много любви она способна пробудить. Ребёнок спал, едва заметно шевеля губами, а тонкие пальцы его правой руки время от времени сжимались, словно он пытался ухватиться за невидимую нить, связывавшую его с окружающим миром. Мария поправила ткань, укрывавшую его плечи, и задержала ладонь над его лбом, не решаясь коснуться лишний раз, чтобы не нарушить сон. Она ещё не могла знать, какие испытания ждут её сына и сколько людей однажды будут произносить его имя с надеждой, страхом, любовью или ненавистью; сейчас для неё он был прежде всего её ребёнком, которого следовало беречь от холода, голода и жестокости мира.

Войдя в дом, Иосиф тихо сообщил ей, что у порога появились трое чужеземцев. Их одежда, манера держаться и дорожные сундуки выдавали в них людей высокого положения, но ни один не назвал себя царским посланником и никто не потребовал немедленно привести

к ним хозяина дома. Напротив, они попросили разрешения увидеть младенца и говорили с таким почтением, что Иосиф, привыкший встречать в дороге самых разных людей, не сразу понял, что именно привело их сюда. Мария посмотрела на мужа, и в её взгляде мелькнуло беспокойство: она не знала этих людей, не понимала, откуда им известно о рождении сына, и не могла объяснить, почему они преодолели столь далёкий путь ради ребёнка, который ещё не научился даже держать голову. И всё же в их лицах не было угрозы, а в голосах звучала такая серьёзность, что отказать им, не выслушав, казалось неправильным.

Когда волхвы вошли, старший из них первым преклонил колени, и двое остальных последовали его примеру. На мгновение никто не произнёс ни слова: трое учёных мужей, привыкших искать ответы в древних книгах и движении звёзд, оказались перед женщиной, чья жизнь до этой минуты не отличалась от жизни множества других матерей, и перед младенцем, чьё появление на свет они считали исполнением небесного знамения. Старший волхв поднял глаза на Марию, и всё, что он готовил сказать в дороге, показалось ему слишком громким и неуклюжим для этого скромного помещения. Он понял, что перед ним не символ из древнего пророчества и не разгадка сложного небесного расчёта, а живая женщина, которой предстояло растить сына, не зная, какую цену однажды потребует от неё его предназначение.

— Мир вашему дому, Мария, — произнёс он наконец. — Мы пришли из далёких земель, потому что увидели на небе знак, который не смогли оставить без внимания. Долгие годы мы изучали движение светил и слова древних пророков, но никогда прежде не встречали ничего подобного. Этот свет привёл нас сюда, и мы верим, что рождение вашего сына имеет значение, далеко выходящее за пределы нашей жизни и даже за пределы тех царств, которые ныне кажутся вечными. Мы не просим вас поверить нам на слово и не станем утверждать, будто способны понять всё, что приготовлено ему судьбой. Мы лишь хотим засвидетельствовать своё почтение и принести дары, достойные того, кого, как мы верим, указало нам само небо.

Мария молчала, всматриваясь в незнакомцев, и пыталась найти в их словах объяснение, которое не звучало бы невероятным. Она не знала, что ответить людям, говорившим о её сыне так, словно его рождение уже принадлежало истории, хотя он лежал перед ними в пелёнках и тихо дышал во сне. Иосиф стоял рядом, настороженно наблюдая за гостями, готовый вмешаться, если их почтение окажется лишь прикрытием для опасных намерений. Но волхвы не торопили Марию, не задавали новых вопросов и не пытались приблизиться к ребёнку без её разрешения. Старший снял с пояса небольшой ларец, украшенный тонкой резьбой, и поставил его перед собой; второй бережно развязал кожаный мешочек, а третий опустил голову, словно собираясь с мыслями перед словами, которые не решался произнести слишком поспешно.

За стенами дома город окончательно пробудился, наполнившись голосами, шагами и стуком деревянных ставней, а над крышами медленно поднималось солнце, скрывая своим светом звёзды. И всё же далеко над землёй, уже почти невидимая в сиянии утра, Вифлеемская звезда продолжала свой путь по небесам, оставляя позади ночь, в которой трое волхвов впервые поняли, что их многолетние знания привели их не к разгадке, которую можно записать на табличке, и не к тайне, которую можно запереть в храме, а к началу событий, чьи последствия переживут поколения царей и падение целых империй. Они пришли поклониться младенцу, не зная, что впереди его ждут годы странствий, проповедей и испытаний, что одни назовут его спасителем, другие сочтут угрозой, а имя его однажды станет предметом споров, веры и кровопролития. В тот час всё это ещё скрывалось за завесой будущего, и в маленьком доме, среди запаха соломы и тёплой ткани, мир словно задержал дыхание перед тем, как сделать первый шаг навстречу собственной судьбе.

Сухой ветер идёт от пустыни, тянет пыль по каменистой дороге. Весна на земле древней Иудеи — это не мягкость, а резкость: солнце уже высоко, свет его белый и беспощадный. Над холмами вокруг Иерусалим стоит лёгкая дымка — смесь жара, пепла и дыхания тысяч людей. Узкие улицы шумят, каменные стены отбрасывают короткие тени. За городскими воротами тянется дорога к холму, который называют Голгофа — месту казней, где земля утрамбована кровью и страхом.

Люди здесь одеты просто: грубые шерстяные туники, выцветшие плащи, кожаные сандалии. Лица загорелые, иссечённые ветром и заботами. Кто-то прячет глаза, кто-то смотрит открыто, с ожесточённым любопытством. Женщины прикрывают головы тканью, старики опираются на посохи. В толпе — крики, шёпот, смех, проклятия. Одни плюют на дорогу, другие плачут. Гул стоит, как перед грозой, но небо чистое и безжалостное.

Идёт человек. На его плечах — тяжёлое бревно, грубо обтёсанное, оставляющее занозы и кровавые полосы на коже. Дерево давит, врезается в раны. Он спотыкается о камни, и пыль поднимается вокруг его босых ног. Его спина согнута, дыхание рвётся короткими хриплыми вдохами. Пот смешивается с кровью и пылью, превращаясь в грязные потёки на лице.

Он устал — не только телом, но всем существом. Но в его движениях нет злобы, нет проклятия. Когда он падает, он поднимается медленно, словно подчиняясь не приказу, а внутренней необходимости. Он поднимает взгляд к небу — глубокому, выцветшему от жары. Смотрит так, будто ждёт ответа. Не чуда, не избавления — а подтверждения, что его путь не напрасен. В этом взгляде — тишина среди крика.

Рядом идут римские воины — тяжёлые шаги, звон металла. Их лица закрыты шлемами, под которыми прячется усталость солдат, привыкших к казням. На них — кожаные панцири, короткие мечи у пояса. Один держит верёвку, другой подталкивает древком копья. Для них это служба, ещё один день под властью Римская империя. Их голоса звучат грубо, отрывисто, на чужом для толпы языке.

Толпа беснуется. Кто-то кричит о богохульстве, кто-то требует быстрее закончить казнь. Есть и такие, кто молчит, прижимая руки к груди, не решаясь вмешаться. Лица искажены страстью — страхом перед римлянами, страхом перед переменой, страхом перед истиной, которую они не хотят слышать.

Человек снова спотыкается. Крест глухо падает на камни. Пыль взлетает, солнце вспыхивает в ней золотыми искрами. Воин резко приказывает встать. Он медленно поднимается. И снова смотрит в небо. И кажется, будто в этом взгляде — больше силы, чем во всех криках, оружии и власти вокруг.

Все помнят, как он стоял на помосте перед дворцом — римский прокуратор Иудеи, представитель власти далёкого кесаря. Понтий Пилат был человеком холодного рассудка и усталых глаз. Его лицо казалось высеченным из камня: тонкие губы, жёсткая складка у рта, взгляд, в котором читалось больше раздражения, чем гнева. Он не любил этих споров о вере, не любил местных распрей, но ещё меньше любил мятежи.

Перед ним стоял связанный человек — избитый, окровавленный, но странно спокойный. Пилат поднял руку, требуя тишины.

— Я приговариваю тебя... к распятию.

Слова его прозвучали сухо, как удар молота.

Толпа взорвалась восторгом. Крики, свист, торжествующий смех — всё смешалось в один оглушительный гул. Но среди этого безумия были и другие: женщины, закрывшие лица ладонями; старик, упавший на колени; юноша, побледневший так, словно приговор вынесли ему самому. Их ужас тонул в ликовании большинства.

И теперь его гнали по дороге к Голгофа — Лобному месту за стенами Иерусалима. Он едва держался на ногах. Тяжёлое бревно давило на израненную спину. Камни резали ступни.

У одного дома, где тень от стены давала краткое спасение от солнца, он попытался опереться на низкий камень, чтобы перевести дыхание.

Дверь распахнулась. На пороге появился мужчина — жилистый, с узким лицом и резкими чертами. Его глаза блестели раздражением, губы были сжаты в тонкую линию. Он был из тех, кто дорожит своей честью перед соседями и боится чужого позора больше собственного греха.

— Не останавливайся здесь — не позорь мой дом! Ступай дальше, богохульник!

Измученный поднял на него взгляд. В этом взгляде не было ни укора, ни обиды — только усталость и странная, глубокая печаль. Он тихо произнёс:

— Агасфер, ты будешь идти, пока Я не вернусь.

Слова прозвучали почти шёпотом, но мужчина вздрогнул, словно их произнесли громом. Осуждённый поднялся и снова двинулся вперёд. На холме уже стояли кресты. Двое преступников были распяты по сторонам — разбойники, осуждённые за мятеж и убийства. Их тела висели на грубых перекладинах, руки прибиты, ноги связаны. Они стонали, иногда выкрикивая проклятия. Кровь стекала по дереву и капала на утопанную землю.

Его положили на крест. Солдаты действовали привычно. Один удерживал руки, другой приложил к запястью железный гвоздь. Удар молота — глухой, тяжёлый. Металл вошёл в плоть. Потом другой удар — и вторая рука. Ноги сложили одна на другую, пробили длинным гвоздём.

Боль должна была разорвать сознание. Но он лишь сжал зубы и, сквозь хриплое дыхание, произнёс:

— Отче, прости им, ибо не знают, что делают.

Крест подняли. Он тяжело встал в приготовленную яму. Тело дёрнулось от веса, повисло, растянутое болью.

Слева один из распятых, тот, что ожесточился страданием, усмехнулся сквозь кровь:

— Если ты Помазанник, спаси себя и нас!

Но другой оборвал его резким шёпотом:

— Или ты не боишься Бога? Мы осуждены справедливо, по делам нашим. А Он ничего худого не сделал.

И, повернув голову к центральному кресту, добавил:

— Помяни меня, когда придёшь в Царствие Твоё.

И распятый ответил ему:

— Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю.

Солнце всё так же стояло высоко. Но над холмом уже начинала сгущаться тень — будто сама земля затаила дыхание.

Прошло несколько часов. Жара стала густой и тяжёлой, как сама казнь. Воздух над холмом дрожал, будто плавился. Распятый мужчина испытывал муки — тело его было вытянуто, каждая попытка вдохнуть требовала усилия, каждое движение отзывалось огнём в пробитых руках и ногах. Но он почти не говорил. Иногда он поднимал глаза к небу. Небо было ослепительно белым от солнца, без единого облака, равнодушное и бесконечное. Он смотрел ввысь так, словно ожидал знака — не избавления, а завершения пути. В его лице не было паники. Черты, искажённые болью, всё же сохраняли странную силу и одухотворённость. Казалось, он уже стоял на границе между землёй и чем-то большим, и смерть не внушала ему страха. В его взгляде была тишина — глубокая, как вода в колодце.

Солнце палило нещадно, выжигая влагу из тел распятых. Губы их потрескались, язык прилипал к нёбу. На голове центрального осуждённого был венец из терновых ветвей — колющие шипы впились в кожу, и кровь медленно стекала по лбу, по вискам, смешиваясь с потом и пылью. Капли падали вниз, на землю у основания креста.

Под крестом стояли четверо стражников — обычная римская стража, назначенная для казни. Они бросали жребий о его одежде, переговаривались, утирали пот. Для них это была служба, тяжёлая, но привычная. Над ними простиралась власть Римская империя, и на этом холме они были её безличным орудием.

Среди них был солдат по имени Лонгин Сотник. Он отличался от остальных. Высокий, худощавый, с резкими скулами и светлыми, почти выцветшими глазами, которые постоянно щурились от света. Полуслепота сделала его негодным для настоящей военной службы: в строю он плохо различал лица и движения на расстоянии. Его оставили при стражниках — караулить, сопровождать, выполнять простые приказы.

Он держался чуть в стороне. В отличие от других, он не смеялся и не спорил о добыче. Он всматривался в распятого, напрягая зрение, словно пытался разглядеть в нём что-то, ускользающее от остальных. Солнце слепило его, но он не отводил взгляда. В его лице читалось смятение — тихое, внутреннее, будто в нём боролось то, чему он не находил имени.

Вокруг стояли люди. Одни, разгорячённые злобой, кидали мелкие камни, выкрикивали оскорбления, требовали чуда — спасения, которое доказало бы невиновность. Их лица были искажены криком, глаза блестели фанатичным огнём.

Другие молчали. Они стояли, сжав губы, словно боялись расплакаться вслух. Слёзы текли по их щекам, оставляя светлые дорожки на запылённой коже. Женщины прижимали руки к груди, мужчины опускали головы.

Среди них была Мария. Она стояла ближе всех к кресту. Лицо её было бледным, почти прозрачным под жарким солнцем. Тёмное покрывало обрамляло её голову, но не скрывало выражения — не истерики, не крика, а глубокой, пронзающей боли. Её глаза не отрывались от распятого. В них было всё: материнская любовь, страх, непонимание и вместе с тем странное смирение, будто она знала — этот путь должен быть пройден до конца. Иногда её губы едва заметно шевелились — то ли молитва, то ли имя, которое она не осмеливалась произнести вслух.

И над холмом стояла тяжёлая тишина, прерываемая лишь хриплым дыханием распятых и далёким криком птиц в раскалённом небе. Солнце уже клонилось к западу. Его свет стал густым, медным, и тени вытянулись по земле, словно чёрные трещины. Воздух остыл совсем немного, но после дневного зноя даже это казалось переменной.

Распятый мужчина тяжело дышал. Каждый вдох был борьбой. Грудь поднималась рывками, затем опускалась медленно, будто с усилием. Голова, увенчанная терновым венцом, склонилась набок. Кровь запеклась на лбу, потемнев до бурого.

Он ещё раз поднял глаза к небу — уже не ослепительно-белому, а окрашенному в огненные полосы заката. В этом последнем взгляде было не отчаяние, а завершённость. Губы едва заметно шевельнулись, словно он доверял кому-то свою душу.

И вдруг тело его вздрогнуло — коротко, резко. Пальцы судорожно сжались. Затем напряжение ушло. Голова окончательно опустилась на грудь. Грудь больше не поднялась.

Он повис — безвольно, тяжело, как оборванная струна.

Это заметили двое распятых по сторонам. Один, тот, что прежде насмехался, в отчаянии закричал хриплым голосом:

— Забери и нас!

Римские воины лениво подняли головы. Они сидели в тени, прислонившись к камням, усталые и равнодушные. Один зевнул.

— Проверь, жив ли он, — сказал он Лонгину.

Лонгин медленно поднялся. Копьё в его руке блеснуло в свете заката. Он подошёл ближе к кресту. Щурясь, он всматривался в тело — в окровавленные ступни, прибитые к дереву, в израненные руки, в грудь, неподвижную и безмолвную. Голова распятого склонилась на грудь, волосы прилипли к щекам.

Лонгин Сотник сделал ещё шаг. Сердце его билось странно — тяжело и быстро. Он поднял копьё и ткнул остриём в правый бок, под рёбра. Металл вошёл в плоть. И тотчас брызнула кровь — тёмная, густая, смешанная с прозрачной влагой. Она окропила лицо солдата.

Лонгин отшатнулся, вытирая лицо рукой. Кровь размазалась по его щеке.

Другие воины, увидев это, равнодушно произнесли:

— Всё, сдох.

Им не хотелось больше ждать. Казнь закончилась. Они позволили стоявшим поблизости людям снять тело. Мария выступила вперёд. В её руках была плащаница — длинное льняное полотно, чистое, бережно сложенное. Ткань была светлой, почти белой в закатном свете, мягкой, но прочной. Её пальцы дрожали, когда она разворачивала её.

Несколько мужчин осторожно поднялись по лестнице, вынули гвозди. Тело медленно опустили вниз. Руки, ещё недавно распростёртые, теперь безжизненно свисали. Его приняли бережно, как спящего, и завернули в плащаницу. Плач раздался в толпе — тихий, но глубокий, как стон самой земли. Люди понесли его в сторону от холма, осторожно, словно боялись причинить боль даже мёртвому.

Римские воины хохотали. Один рассказывал что-то грубое, другой пнул камень, третий смеялся, показывая рукой на расходящуюся толпу. Для них это был конец долгого дня, ещё одна казнь в бесконечной череде.

Лишь Лонгин стоял неподвижно. Он медленно поднял голову. Мир вокруг изменился. Он видел — ясно, остро, невероятно чётко. Каждая песчинка на земле отбрасывала крошечную тень. Он различал трещины в камнях, прожилки в листьях редкого куста у подножия холма. Он видел муху, зависшую в воздухе, видел, как движутся её прозрачные крылья. Лица людей вдалеке стали отчётливыми, как будто стояли рядом.

Зрение вернулось — и стало сильнее прежнего. Лонгин задрожал. Копьё выпало из его руки. Он посмотрел на небо, окрашенное последним огнём заката.

— О Господи! — вскричал он. — Воистину это был Твой Сын!

Глава 2. На почте

Я, Марк Симмен, обычный сотрудник почтовой службы. Иногда разъезжаю на жёлтой машине и собираю отправления из уличных ящиков, чтобы потом на стационарном пункте их рассортировать и отправить по адресатам. Но чаще стою у стойки и обслуживаю клиентов. Моё отделение на Линденплац, Винтертур — небольшой город в кантоне Цюрих.

Работа обычная: приём писем и посылок, наклеивание марок, обмен валюты, оплата квитанций, оформление заказов, продажа мелких товаров. В основном — канцелярские принадлежности и книги, но случается и техника: смартфоны, часы, дорогие ручки в подарочных футлярах. Всё аккуратно разложено за стеклянной витриной, всё по штрих-коду, по инструкции, по регламенту.

Мне тридцать лет. Я худой, подтянутый — бегаю по утрам и дважды в неделю хожу в зал. Плечи неширокие, но крепкие, руки жилистые. Лицо вытянутое, с прямым носом и внимательным взглядом за стёклами очков — близорукость с детства. Лёгкая щетина появляется уже к обеду, сколько ни брейся с утра. Волосы тёмно-русые, обычно аккуратно зачёсаны назад, хотя к концу смены несколько прядей неизбежно выбиваются.

Я окончил бакалавриат по специальности экономика и право в ZHAW, в Винтертуре. Карьеру строю на поприще коммуникаций — так это красиво называется в документах. Но особого рвения не проявляю. Я люблю свою работу, но не хочу лезть в начальство. Это напрягает, ограничивает свободу, накладывает слишком много обязательств и отнимает личное время. А мне хочется большего простого счастья: спорта, музыки, вечерних фильмов и встреч с Бетти.

Бетти — моя подруга. Она медсестра в кантональной клинике. Невысокая, с мягкими каштановыми волосами до плеч и тёплыми карими глазами. В её улыбке есть что-то успокаивающее — пациенты доверяют ей сразу. Характер у неё мягкий, но не слабый. Она умеет сострадать и в то же время смеяться над трудностями. Любит приключения и путешествия — может в пятницу вечером внезапно предложить уехать в горы на выходные. Большая поклонница любовных романов и мелодрам, плачет на трогательных сценах и потом долго обсуждает их со мной. Обожает танцы, особенно латиноамериканские — танго и бачату. Когда она танцует, её движения становятся уверенными, страстными, будто в ней просыпается другая энергия.

Впрочем, я отвлёкся. Работы много. Стрелка настенных часов показывает 11:30. До обеда полчаса.

Ко мне подходит старушка. Невысокая, сухая, в аккуратном сером пальто, застёгнутом на все пуговицы, несмотря на тёплый день. Волосы собраны в строгий пучок, седина уложена безупречно. Очки на тонкой цепочке, взгляд острый и внимательный — будто до сих пор ищет ошибки в тетрадах.

Это фрау Кинзель. Когда-то она преподавала мне математику в школе. Она подаёт квитанции на оплату коммунальных услуг и аренды квартиры.

— Как дела, фрау Кинзель? — спрашиваю я, принимая бумаги и проводя их через сканер. Дисплей показывает итоговую цифру: 2100 франков.

— Всё хорошо, Марк, — кивает она. — Так ты теперь разбираешься в логарифмах?

Я невольно улыбаюсь.

— Куда деться — конечно, — вздыхаю я, вспоминая свои мучения над высшей математикой. — Но в жизни она мне не пригодилась!

— Что — математика?

— Нет, логарифмы.

Она неодобрительно качает головой, как двадцать лет назад, и расплачивается кредиткой с той же строгостью, с какой когда-то ставила мне «удовлетворительно».

Следом подходит парень лет пятнадцати. Высокий, худой, в широкой толстовке и кроссовках, которые, кажется, стоят дороже моей месячной страховки. Волосы уложены нарочито небрежно. В ушах — большие наушники, из которых до меня доносится приглушённый бит. Он жуёт жвачку и слегка подтанцовывает, едва заметно двигая плечами.

Он не спрашивает и не хочет слышать ответы. Просто протягивает конверт и пальцем показывает на витрину с марками.

Я молча наклеиваю марку.

— Один франк, — говорю я.

Он уже достаёт карту. Платит, кивает — не мне, а в такт музыке — и уходит, не снимая наушников.

Я смотрю ему вслед. Между нами всего пятнадцать лет разницы. Но мы уже разные. У него мир — в экране смартфона, в потоках музыки, в мгновенных сообщениях. У меня — в бумажных письмах, квитанциях, марках и живых разговорах через стойку.

Я ещё помню время, когда письмо ждали неделями и хранили в ящике стола. Он, возможно, никогда не писал ничего от руки.

Часы щёлкают дальше. До обеда — двадцать восемь минут.

В это время к стойке подошла женщина — и у меня буквально отвисла челюсть. Ей было около сорока, но возраст лишь подчёркивал её красоту. Высокая, стройная, с идеальной осанкой — она двигалась так, будто пространство само расступалось перед ней. Лицо точёное, с чёткой линией скул и прямым, уверенным подбородком. Губы — яркие, но без вульгарности, взгляд — прямой, неподвижный.

На ней был роскошный красный брючный костюм безупречного кроя, подчёркивающий фигуру, и широкополая шляпа в тон. Ткань мягко переливалась в свете ламп. В её образе не было ни одной случайной детали — всё продумано, всё выверено. Она была сама элегантность.

Я бы назвал её королевой. Если бы не холод. От её лица исходило ощущение ледяного превосходства. Глаза — светлые, почти прозрачные, словно лёд на зимнем озере. В них не было тепла, только внимательное, оценивающее спокойствие. Под этим взглядом я невольно поёжился.

— Я слушаю вас, мадам, — сказал я, стараясь сохранить профессиональный тон.

Она посмотрела прямо на меня и произнесла:

— *Historiae studeo et mandatum facere volo.* (Я интересуюсь историей и хотела бы сделать заказ.)

Я машинально ответил:

— *Ita vero. Quid vos interest?* (Да, конечно. Что вас интересует?)

И тут вздрогнул. Мы говорили на латыни. На языке, который давно вышел из повседневного употребления.

Латынь я учил по настоянию отца. Я не понимал, зачем мне это нужно. В школе это был факультатив, и большинство выбирало испанский или дополнительную информатику. Но отец был непреклонен. «Это традиция, — говорил он. — Мой дед учил. Я учил. И ты будешь учить. Знание передаётся от поколения к поколению. Язык — это ключ к корням».

Он сажал меня за стол по вечерам, заставлял склонять существительные, переводить Цезаря, выписывать глагольные формы. Мне хотелось гулять с друзьями, а я зубрил «*amo, amas, amat*». Тогда это казалось бессмысленным упрямством.

Мёртвый язык. Но, выходит, не совсем мёртвый. Если эта женщина обратилась ко мне на нём — и была уверена, что я отвечу. Но откуда она знала?

Между тем женщина спокойно перешла на обычный немецкий:

— Вот рекламный проспект, — она протянула мне аккуратно сложенную бумагу. — Здесь написано, что можно заказать книгу «Артефакты и реликвии христианства», изданную в Ватикане в прошлом году. Я хотела бы оформить заказ.

Я кивнул.

— Да, конечно, помогу.

Мои пальцы автоматически начали заполнять бланк, но мысли крутились вокруг странного разговора.

Рядом со мной работали две коллеги, обслуживая клиентов. Из соседнего помещения доносился гул сортировки — посылки падали на ленту, сканеры пищали, двое сотрудников раздражённо спорили о перепутанных накладных. Обычный рабочий шум.

А здесь — тишина. Женщина продолжала смотреть на меня, не отрывая взгляда. Это смущало. Я быстрее обычного заполнил форму и протянул ей.

— Нужна ваша подпись.

Она взяла ручку. Движение было медленным, уверенным. Подписала: Лилит.

Я поставил штамп и набрал сумму на кассе:

— Семьдесят четыре франка.

Книга дорогая. Ещё и доставка из Ватикана.

Она протянула купюру в сто франков. Я отсчитал сдачу.

И тогда она сказала:

— Вам следовало бы прочитать эту книгу, Марк.

Я вздрогнул.

— Откуда вы меня знаете?

Она слегка улыбнулась — не губами, а взглядом.

— Я многое знаю, — произнесла она тихо. — Эту книгу я заказала вам.

— Мне? Зачем?

— Вам надо это знать.

Она развернулась и вышла из помещения почты, её каблуки мягко стучали по полу.

Я ошарашенно смотрел ей вслед.

Разговор мне не понравился. Кто она такая? Лилит — так она подписалась. Но что мне даёт это имя? Зачем мне книга, в которой я не нуждаюсь? Я не интересуюсь религиозной литературой. Я атеист. Мои имысли вращались с бешеной скоростью, вызывая в душе смятение.

Да, все мои родные были католиками. Меня не укоряли за атеизм, хотя и не поддерживали мой материалистический взгляд на мир. Мы живём не в тёмные века. Инквизиция давно стала историей. Право на свободу совести — личный выбор каждого гражданина Швейцарии. Здесь никто не преследует за убеждения. А я верю в законы, экономику, логику, цифры. А не в мистические совпадения.

И всё же... Почему она знала моё имя? И почему, когда она смотрела на меня, мне казалось, будто меня видят насквозь?

Тот день действительно выбил меня из привычного ритма, и дело было не в усталости и не в перегруженности работой. Обычно цифры успокаивают меня: в них есть ясность, структура, логика. Деньги либо сходятся, либо нет — третьего не дано. Но в тот раз внутри словно появилась помеха, лёгкий сбой, который нельзя было устранить простым пересчётом.

Я ловил себя на том, что смотрю на экран кассы и вижу не сумму, а отражение её лица — холодный блеск глаз, едва заметную улыбку, когда она произнесла моё имя. Дважды я чуть не ошибся в расчётах. Это было на меня не похоже, и именно это пугало больше всего. Ошибка — это признак рассеянности, а рассеянность — признак внутреннего беспорядка. Я всегда гордился тем, что держу себя в руках.

Когда рабочий день закончился, я закрыл кассу, медленно пересчитал наличность, сверил отчёты — трижды, вместо привычных двух. В этом повторении было что-то навязчивое, почти суеверное, словно я пытался восстановить нарушенное равновесие.

На улице воздух был прозрачным, майским, наполненным запахом молодой листвы. Город жил своей обычной жизнью: трамваи скользили по рельсам, люди смеялись у входов в кафе, где-то играла уличная скрипка. И всё это казалось удивительно нормальным — почти вызывающе нормальным — на фоне того странного разговора.

Мой Volkswagen Golf ждал меня на стоянке, такой же, как всегда: немного пыльный, с привычной вмятиной на заднем бампере и ароматом освежителя воздуха с запахом хвои. Я сел внутрь, закрыл дверь, и пространство салона словно отрезало меня от внешнего мира. Я на мгновение задержал руки на руле, прежде чем повернуть ключ зажигания.

Лилит. Имя звучало в голове с какой-то тяжёлой завершённостью. Слишком древнее, слишком символичное, чтобы быть случайным. И её латинская фраза — произнесённая без малейшего акцента, без колебания, будто она знала, что я отвечу. Откуда? Отец никогда не рассказывал о своих учениках. Я не участвовал ни в каких кружках, где можно было бы продемонстрировать знание латыни. Это было почти интимное знание, семейное, переданное по цепочке мужчин, которые, как утверждал отец, обязаны были хранить традицию.

Я нажал на газ, машина мягко тронулась, и я попытался убедить себя, что всё происходящее — просто совпадение. В мире восемь миллиардов людей. Кто-то обязательно говорит на латыни. Кто-то обязательно угадает твоё имя, если оно написано на бейджике.

Но моё имя не было написано. Эта мысль возникла внезапно, как холодная игла. Я не ношу именной таблички.

...Вечером Бетти предложила сходить в кино. Я согласился почти с облегчением — мне хотелось отвлечься, раствориться в чужой истории. В кинотеатре было полутемно и прохладно, и когда начались «Страсти Христовы» Мела Гибсона, я сначала смотрел как сторонний наблюдатель.

Фильм рассказывал о последних часах жизни Иисуса — от молитвы в Гефсиманском саду до распятия и смерти на кресте. Допросы, бичевание, путь на Голгофу, толпа, римские солдаты, скорбящая мать.

Но постепенно фильм перестал быть просто фильмом. Реалистичность была почти физической. Камера не отворачивалась от страдания, не сглаживала его. Каждый удар казался тяжёлым и ощутимым, будто звук проходил не через динамики, а через грудную клетку. Пыль, кровь, крики, тяжёлое дыхание — всё было лишено театральности. Это была не символическая история, а почти анатомия боли.

Я поймал себя на том, что напряжённо сжимаю подлокотник кресла. В какой-то момент мне показалось, что я уже видел это. Не в кино, не в книге — а где-то глубже, на уровне образов, которые не имеют источника. И тут снова возникла связь — книга, заказанная в Ватикане, артефакты, мощи, свидетельства прошлого. Предметы, которые якобы хранят следы тех событий.

Совпадение ли, что в один день ко мне приходит женщина с древним именем, говорит со мной на латыни и заказывает книгу о реликвиях — а вечером я смотрю фильм о тех же событиях?

Рациональный ум немедленно выстроил объяснение: это просто ассоциация. Мозг ищет связи там, где их нет. Это его природа. Но тревога не подчинялась логике.

Когда мы вышли из кинотеатра, тёплый майский воздух обнял нас, но внутри меня было прохладно. Бетти говорила о силе веры, о жертве, о том, что такие фильмы заставляют задуматься о смысле страдания. Я слушал её и одновременно слышал собственные мысли, словно два потока, не пересекающиеся друг с другом.

— Ты что такой задумчивый? — спросила она.

Я хотел ответить честно. Хотел сказать, что чувствую странную связь между сегодняшними событиями. Что меня пугает не фильм, а женщина в красном костюме. Но как это сформулировать, не звуча нелепо?

— Да так... — сказал я вместо этого.

Она остановилась и внимательно посмотрела на меня. Бетти всегда умела читать по лицу то, что я предпочёл бы скрыть.

— Ты не заболел?

В её голосе было не подозрение, а забота. И именно это сделало моё молчание ещё более тяжёлым.

— Нет. Всё в порядке.

Я солгал не ей — я солгал себе. Потому что внутри меня уже не было порядка. Было ощущение, будто невидимая нить осторожно тянет меня в сторону, в область, где привычная логика перестаёт работать.

Мы пошли к кебабнице, обсуждая фильм, но на каком-то уровне я перестал слышать слова. В витринах отражались огни улицы, прохожие, мы сами — и иногда мне казалось, что в глубине отражения есть ещё одна фигура, чуть задерживающаяся, чуть медленнее движущаяся.

Я несколько раз оборачивался. Никого. И всё же ощущение взгляда не исчезало. Оно не было паническим, не было резким — скорее устойчивым, настойчивым, как чьё-то спокойное наблюдение. И впервые за долгое время я почувствовал, что мир, который я считал предсказуемым и рациональным, возможно, имеет второй слой.

И этот слой начал проступать.

Глава 3. Книга

Книга «Артефакты и реликвии христианства» пришла на почту на третий день. К тому времени первоначальное волнение уже улеглось. Память о Лилит перестала быть острой — она словно растворилась в повседневности, в утренних пробежках, в привычных разговорах, в шуме трибун стадиона. Я почти убедил себя, что придал слишком большое значение случайной встрече.

Два дня я жил обычной жизнью. Утром бегал вдоль набережной, чувствуя, как тело благодарно отзывается на нагрузку. Вечером встречался с друзьями на стадионе — мы смотрели игру «Винтертура» против берлинского клуба. Матч был напряжённым: берлинцы играли технично, чётко разыгрывали мяч, и временами казалось, что наши не выдержат давления. Но игра закончилась вничью. Одних это расстроило — ожидали победы, — а меня, наоборот, успокоило. Ничья против сильного соперника — это не поражение. Это баланс. Равновесие сил. Наверное, мне в тот момент было нужно именно это ощущение равновесия.

И всё же, когда на третий день на склад поступила массивная посылка из Ватикана с моим номером заказа, что-то внутри снова дрогнуло. Книга оказалась тяжёлой, в плотной тёмной обложке с золотым тиснением. Бумага — мелованная, страницы плотные, гляцевые. Это было не просто издание — это был почти музей в переплёте. Фотографии высокого разрешения, схемы, реконструкции древних предметов, выдержки из канонических текстов, ссылки на апокрифы, исторические комментарии, сравнительный анализ традиций. Всё оформлено с академической тщательностью.

Я распечатал книгу во время обеденного перерыва.

Мой обед был привычным: картофельное пюре, курица, салат и банка кока-колы. Я разогрел пюре в микроволновке, и аромат тёплого масла и специй быстро разошёлся по кантине.

— Сам приготовил? — спросила Адель, практикантка, заглянув в мой контейнер.

— Сам, — с некоторой гордостью ответил я. Я жил один, и готовка давно стала частью моего ритма — такой же обязательной, как спорт.

Коллеги одобрительно кивнули. В этом было что-то простое и земное, возвращающее к реальности.

Но, закончив с едой, я снова взял книгу. В ней описывались самые известные реликвии христианской традиции.

Святой Грааль — чаша, из которой, согласно преданию, Христос пил во время Тайной вечери и в которую, по легенде, была собрана Его кровь. В книге приводились различные версии: от кельтских легенд до средневековых поисков рыцарей, анализировались исторические гипотезы и символическое значение чаши как сосуда божественной благодати.

Туринская плащаница — длинное льняное полотно с отпечатком человеческого тела, которое многие считают погребальным саваном Иисуса. В издании подробно рассматривались результаты радиоуглеродного анализа, споры учёных, изображения высокого разрешения, на которых видны контуры лица, ран, следы страдания.

Копьё Лонгина — оружие, которым римский солдат пронзил бок распятого. История копья оказалась особенно запутанной: несколько европейских монархий утверждали, что именно у них хранится подлинный наконечник. В книге приводились сведения о его «чудодейственной» силе и роли в судьбах империй.

Далее шли и другие реликвии.

Терновый венец — венец, возложенный на голову Иисуса перед распятием. Описывалась его история, путь через Византию во Францию, богословское значение как символа страдания и царственности одновременно.

Святой Крест — предполагаемые фрагменты креста, на котором был распят Христос. Средневековые хроники, свидетельства паломников, легенда об обретении креста царицей Еленой — всё это сопровождалось фотографиями и научными комментариями.

Я листал страницы, и постепенно во мне возникало странное ощущение. С одной стороны, текст был академическим, почти сухим. Он рассматривал предметы как исторические артефакты, анализировал источники, приводил аргументы «за» и «против».

С другой — за каждым предметом стояла вера миллионов людей, столетия поклонения, войны, поиски, молитвы.

Я закрыл книгу и откинулся на спинку стула.

— Хм... — вырвалось у меня. — И что?

Я не понимал, зачем это мне. Я не интересовался религиозной литературой. Я не искал чудес. Я не был паломником. Я считал себя рациональным человеком, который опирается на доказательства, а не на предания.

И всё же книга лежала передо мной. Её заказала Лилит. Не для себя — для меня. Почему? Что она во мне увидела? Почему решила, что именно мне «надо это знать»?

Я попытался объяснить всё случайностью, но мысль не отпускала. Если это была случайность, то слишком уж многослойная: латинский разговор, фильм о распятии, имя Лонгина, а теперь — копье, которому посвящена целая глава.

Я провёл пальцем по обложке. Впервые за долгое время я почувствовал, что стою на пороге вопроса, который не могу сформулировать.

И именно это беспокоило больше всего.

Обед закончился плавным, почти ласковым звуковым сигналом, раздавшимся из потолочных динамиков. Этот звук всегда казался мне немного нереальным — как будто время не просто истекало, а аккуратно складывалось в ящик и убиралось до следующего перерыва. Я закрыл книгу, провёл ладонью по её обложке, словно проверяя, не исчезнет ли она, если я отвлекусь, и вернулся к стойке.

У дверей уже собралась очередь. Люди стояли вполголоса переговариваясь, кто-то проверял уведомления в телефоне, кто-то нервно перекидывал конверт из руки в руку. Моя коллега нажала кнопку под столешницей, и стеклянные двери бесшумно разошлись в стороны, выпуская в зал поток клиентов. В помещение сразу вошёл уличный воздух — свежий, с лёгким запахом весенней зелени и асфальта, прогретого солнцем.

Рабочий ритм снова включился. Первым ко мне подошёл мужчина лет пятидесяти. Темноволосый, с короткой аккуратной бородой, в дорогом тёмном костюме, идеально сидящем по фигуре. На его запястье я заметил часы Rado Captain Cook — массивный корпус из полированной стали, глубокий циферблат цвета морской бездны, сапфировое стекло. Такие стоят не меньше пяти тысяч франков. Его туфли были безупречно начищены, галстук — сиреневый, неброский, но дорогой.

Лицо — худое, с резкими скулами. Кожа слегка смуглая, словно недавно он вернулся с побережья Средиземного моря. Но дело было не во внешности.

Что-то в нём настораживало. Он выглядел на пятьдесят, но ощущался старше — не физически, а... глубже. В его глазах не было обычной человеческой усталости. Там была мука, которая не связана ни с бизнесом, ни с болезнями, ни с потерями. Это была какая-то бесконечная тревога, словно человек слишком долго живёт с грузом, который давно должен был исчезнуть вместе с его носителем.

В руках он держал трость с набалдашником из слоновой кости. Набалдашник был выточен в форме львиной головы: тщательно прорисованная грива, приоткрытая пасть, тонкая работа мастера. Трость была не опорой — это было продолжение его воли.

— Добрый день. Я вас слушаю, — произнёс я привычной фразой.

И он ответил на латыни:

— *Propositum tibi habeo, Marce.* (У меня есть к тебе предложение, Марк.)

Я не успел удивиться. Ответ вырвался автоматически, будто из глубины памяти:

— *Quid vis? Quod propositum est?* (Чего вы хотите? Какое предложение?)

Только после того, как слова прозвучали, я осознал, что снова говорю на языке, который не использовал со времён университета.

Мужчина посмотрел мне прямо в глаза.

— *Ahasverus mihi nomen est. Reliquam a te emere volo. Scio enim eam apud te esse. Quamlibet pecuniam dabo.* (Меня зовут Агасфер. Я хочу купить у тебя реликвию. Я знаю, что она у тебя есть. Я дам любую сумму.)

Я потряс головой, словно стряхивая наваждение. В груди неприятно кольнуло. Всё происходящее начинало напоминать сон, из которого не получается проснуться.

— Извините, я не понимаю, о чём вы, — ответил я уже по-немецки, подчеркнуто спокойно.

Он понял намёк и перешёл на мой язык.

— Хорошо. Поясню. У тебя есть реликвия, которая передаётся в вашей семье из поколения в поколение. Она мне нужна. Я заплачу десять миллионов франков.

Он стукнул тростью по мраморному полу. Звук получился гулким, тяжёлым, словно удар колокола. Несколько клиентов обернулись. Коллеги настороженно посмотрели в нашу сторону.

— Из семейных реликвий у меня только дедушкины напольные часы весом килограммов пятьдесят, — усмехнулся я. — Хотел их выбросить, но вам продам за озвученную сумму.

Шутка повисла в воздухе. Мужчина не улыбнулся. Его глаза вспыхнули недобрым огнём — не яростью, а чем-то более холодным и опасным. В них мелькнуло раздражение, словно я посягнул на нечто священное своей легкомысленностью.

— Речь идёт не о часах. Мне нужно то, что для тебя — бесполезно. Для атеиста.

Я вздрогнул. Мои взгляды были делом личным. Я не афишировал их. Да, я не состоял в церковной общине, не платил церковный налог, не посещал службы. Но об этом знали лишь близкие.

— Вы знаете слишком много, герр Агасфер, — произнёс я холодно, чувствуя, как во мне включается защитная реакция.

— Потому что я прожил слишком много, Марк, — тихо ответил он. — Мне нужна реликвия всего на пару минут. Потом она снова будет твоей. И за эти несколько минут я заплачу тебе десять миллионов франков.

Не долларов, не евро, не фунтов стерлингов, а именно франков. Сумма прозвучала абсурдно. Нереально. Швейцария, конечно, богатая страна, но даже по местным меркам это слишком большая сумма. Как я поясню налоговой появление такой суммы на моем банковском счету? Что отдал какой-то предмет незнакомому человеку?

— Отличное предложение, — кивнул я. — Но я по-прежнему не понимаю, о какой реликвии идёт речь.

Он наклонился чуть ближе.

— О том, что тебе передал отец. О том, что твой предок передал своему сыну, а тот — своему. Две тысячи лет.

Внутри у меня образовалась пустота. Отец не оставлял мне ничего подобного. Только старый дом — массивный, деревянный, с толстыми стенами, которому действительно было не меньше трёхсот лет. Я приезжал туда летом, но никогда не чувствовал себя там своим. В доме будто сохранялся чужой, тяжёлый воздух прошлого.

Я предпочитал свою двухкомнатную квартиру в Винтертуре — светлую, современную, с панорамными окнами. Да, я платил почти две тысячи франков в месяц, но это была цена за ощущение настоящего.

А теперь передо мной стоял человек, утверждавший, что в моей семье хранится реликвия двухтысячелетней давности. Я посмотрел на него и впервые ощутил не просто тревогу — а лёгкое, почти физическое прикосновение к чему-то, что выходит за рамки разумного.

И самое страшное было в том, что в глубине сознания начала шевелиться мысль: а вдруг он не лжёт?

— Уточните, о чём идёт речь? — потребовал я, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо и профессионально, без той внутренней дрожи, которая уже начинала проступать сквозь привычную выдержку.

Агасфер посмотрел на меня внимательно, почти с сожалением.

— К тебе уже приходила женщина? — неожиданно спросил он.

Он произнёс это не как вопрос, а как утверждение. В его интонации не было ни сомнения, ни поиска информации — только констатация факта. Так спрашивают люди, которые и так всё знают, но хотят услышать подтверждение из чужих уст.

— Какая женщина?

— Лилит.

Имя ударило меня, как холодная вода.

— Лилит? — я поперхнулся, вспомнив её взгляд, красный костюм, ледяное спокойствие. — Да... была три дня назад такая. Заказала книгу.

Я сказал это автоматически. И тут же понял, что нарушил правила. Мы не имеем права раскрывать информацию о клиентах третьим лицам. Это дисциплинарное нарушение. Я мог бы получить выговор, а то и штраф. Но почему-то в тот момент служебный регламент показался мне второстепенным по сравнению с происходящим.

Агасфер усмехнулся — не торжествуя, а устало.

— Ну, конечно. Она тоже ищет эту реликвию. И предложит тебе, возможно, большую сумму. Но ей она нужна не для благих целей. Я же верну её тебе сразу.

Во мне тихо начинало закипать раздражение. Оно поднималось постепенно, как вода в кастрюле — сначала незаметно, затем ощутимо. Станные люди, странные разговоры, латинский язык, реликвия, о которой я ничего не знаю. Лилит. Книга из Ватикана. Теперь этот человек, говорящий о древнем наследии и миллионах франков.

И ещё — это ощущение опасности, возникшее три дня назад и не покидающее меня до сих пор.

— Ты смертен, Марк. Поэтому будь осторожен, — произнёс он.

— Вы мне угрожаете? — нахмурился я.

Внутри вспыхнула другая мысль — приземлённая, практичная. Я давно не ходил на стрельбище. После службы в артиллерии я, как и большинство швейцарцев, оставил себе армейскую винтовку SIG Sauer SG 550 и служебный пистолет. До пятидесяти четырёх лет я обязан регулярно проходить стрелковую подготовку. Это часть системы — дисциплина, ответственность, готовность.

И вдруг мне стало неловко от того, что я подумал об оружии. Как будто сам факт такой мысли уже свидетельствовал о внутренней тревоге.

Агасфер покачал головой.

— Нет. У меня нет цели тебе угрожать. Я на твоей стороне. Но враг — не я. Враг человечества — тот, кого представляет Лилит. Ей нужна реликвия, чтобы свергнутый с Небес вернулся и победил.

— Не морочьте мне голову, герр Агасфер, — рассердился я. — Нет у меня никакой реликвии. Мой отец умер два года назад.

— От рака. Метастазы. Я знаю, — спокойно кивнул он. — Он прожил сто лет и мог бы прожить ещё столько же.

Я замер. Этот человек знал слишком много.

— Какого чёрта...

— Не упоминайте это имя, — резко перебил он, оглянувшись. — Его упоминание укрепляет Самаэля.

— Самаэля?

Он не стал объяснять. Только отвёл взгляд.

— Ваш отец мог излечиться, но не захотел. Он поступил мудро. Я ему завидую.

Во мне всё сжалось.

— Вы издеваетесь? — процедил я. — Рак — это болезнь. Он умирал у меня на глазах. Я был рядом до последней минуты.

И память накрыла меня так ясно, что я на мгновение перестал видеть зал. Белая палата кантональной клиники. Запах антисептика. Тихий писк мониторов. Отец лежал худой, почти прозрачный, кожа натянулась на скулах. Его руки — когда-то крепкие, уверенные — теперь казались детскими. Он смотрел на меня спокойно. Не с отчаянием, не с просьбой, а с каким-то странным принятием.

— Не держи меня, Марк, — прошептал он тогда. — Всё должно закончиться.

Я сжимал его ладонь и убеждал себя, что медицина сильнее. Что врачи что-нибудь придумают. Что чудо возможно.

Но когда его дыхание стало редким, а потом остановилось, в палате наступила тишина, в которой не было трагедии — только завершённость. И это было самое страшное.

— Потому что он знал, куда уходит, — тихо произнёс Агасфер. — И не хотел оставаться дольше. А я хочу уйти. Моё желание — завершить своё бесконечное пребывание на Земле. Тебе, Марк, не понять, что такое бессмертие.

Я почувствовал, что больше не могу продолжать этот разговор.

— Господин Агасфер, наш разговор закончен. Если у вас нет дел по почтовой службе, уступите место другим клиентам.

Я указал на очередь. Он кивнул и поднялся.

— Да, конечно, Марк.

И затем, уже на латыни, произнёс:

— *Immortalitas non est donum, sed supplicium. Duobus milibus annorum ante damnatus sum. Volo culpam meam expiare. Ad hoc mihi reliqua opus est.* (Бессмертие — не дар, а наказание. Две тысячи лет назад я был осуждён. Я хочу искупить свою вину. Для этого мне нужна реликвия.)

Он развернулся и вышел из помещения. Я смотрел ему вслед. В груди медленно разрасталась тревога. Она больше не была абстрактной. Она стала направленной, почти осязаемой, как холодный ветер, проникающий сквозь закрытые окна.

Мир вокруг продолжал жить своей обычной жизнью: клиенты подходили к стойке, коллеги переговаривались, сканеры издавали короткие сигналы.

Но для меня реальность уже сместилась. И я впервые по-настоящему испугался того, что, возможно, действительно не знаю всей истории своей семьи.

Глава 4. После тренировки

Вечером у меня была тренировка. Айкидо стало для меня не столько спортом, сколько способом привести мысли в порядок. Когда тело работает, разум перестаёт метаться. По крайней мере, так было раньше. В тот день я особенно рассчитывал на это.

Тренировки проходили в спортзале местной школы — обычный зал с высоким потолком, светлыми панелями на стенах и запахом лака и татами. Маты лежали ровными прямоугольниками, словно поле, на котором разыгрывалась своя, особая партия — без злости, но с полной концентрацией.

Наш мастер — Эрика Вагнер — стояла в центре зала. Ей было тридцать девять. Чёрный пояс, второй дан. Невысокая, подтянутая, с собранными в аккуратный пучок светлыми волосами и прямой осанкой, которая выдавала годы дисциплины. Лицо её было спокойным, но в

глазах — внимательность, почти хищная точность наблюдения. Она прожила пятнадцать лет в Японии, тренировалась в додзё в Осаке и Киото, изучала язык, традиции, философию.

С нами она чаще говорила по-японски, чем по-немецки. И странным образом мы её понимали. Не потому, что все свободно владели языком, а потому что её слова сопровождались жестами, движением, интонацией.

— Shisei! — коротко произносила она, поправляя нашу стойку.

— Maai! — напоминала о дистанции.

— Zanshin... — о внутренней готовности.

В зале занималось около двадцати человек. Самым младшим был шестнадцатилетний Джон Магобути — худощавый парень из Кении с удивительно быстрой реакцией и застенчивой улыбкой. Самым старшим — шестидесятишестилетний Вольдемар Штайн, бухгалтер из городской аварийно-технической службы Stadwerk. Он двигался медленнее нас, но с такой аккуратностью и уважением к технике, что иногда его приёмы выглядели чище наших.

Эрика начала с демонстрации базовых захватов. Она подозвала Романа — крепкого автомеханика с широкими плечами и мощными руками.

— Katate-dori, — сказала она и позволила ему схватить её за запястье.

В следующую секунду её корпус мягко повернулся, линия атаки изменилась, и Роман оказался на татами, даже не поняв, в какой момент потерял равновесие. Это был irimi-nage — вход с броском через центр, без грубой силы, только работа угла и перенаправление импульса.

— Не боритесь с силой, — пояснила она. — Примите её. И направьте.

Затем она продемонстрировала kote-gaeshi — болевой на кисть с выворачиванием. Давид, сотрудник охраны «Протектас», высокий, жилистый, с короткой стрижкой и привычкой держать руки чуть напряжёнными, атаковал более резко. Но Эрика, едва коснувшись его запястья, развернула кисть так, что он мгновенно опустился на колено, вынужденный подчиниться боли.

— Блокировка — это не остановка, — сказала она. — Это переход.

Потом был shihō-nage — «бросок четырёх направлений». Патрик, учитель истории, высокий, слегка сутулый, с интеллигентным лицом и очками, попытался атаковать медленно, анализируя движение. Но Эрика вошла в его пространство, развернула руку по дуге, и он мягко перекатился через плечо.

Всё выглядело как танец, где партнёры не соревнуются, а подчиняются ритму.

После серии демонстраций она остановилась и оглядела нас.

— Четверо. Добровольцы. Атакуйте одновременно. Я буду защищаться только этими приёмами.

В зале повисло напряжённое молчание. Игорь Шмидке, мой старый одноклассник, стоявший рядом, неожиданно толкнул меня в спину.

— Давай, герой, — прошептал он с ухмылкой.

Я не успел возразить, как Эрика кивнула:

— Отлично, Марк. Я знала, что вы проявите инициативу.

Игорь тихо хихикнул. Я бросил на него косой взгляд и вышел на центр татами. Ко мне присоединились Роман, Давид и Патрик. Мы встали полукругом.

— Hajime! — скомандовала Вагнер.

Мы рванули вперёд. Я попытался зайти с правого фланга, рассчитывая, что она сосредоточится на более массивном Романе. Но она словно чувствовала направление атаки ещё до того, как мы делали шаг.

Роман первым оказался в контакте. Его захват — и тут же irimi-tenkan, поворот корпуса, и он пролетел мимо, потеряв баланс. Давид попытался схватить её за плечо — kote-gaeshi, резкий поворот, и он уже перекачивался по мату.

Я приблизился в момент, когда она завершала движение. Попытался удержать её за рукав, но она вошла под мою линию атаки, сместила центр тяжести, и я ощутил, как земля уходит из-под ног. Это был shihō-nage, исполненный без напряжения. Я перекатился, стараясь смягчить падение, но удар татами всё равно отозвался в плечах.

Патрик, оставшийся последним, атаковал осторожно. Но осторожность в айкидо — не преимущество, если она исходит из сомнения. Эрика сместилась, вошла в его пространство и завершила всё мягким sankuō — контролем на кисть, который заставил его остановиться и признать поражение.

Всё заняло меньше минуты. Мы лежали или поднимались с татами, переводя дыхание. Она стояла в центре — спокойная, ровная, словно ничего особенного не произошло.

— Айкидо — это не победа, — произнесла Эрика тихо. — Это гармония с атакой. Если вы боретесь — вы уже проиграли.

Я сидел на мате, ощущая, как пульс стучит в висках. Странно, но в тот вечер даже тренировка не принесла обычного облегчения. В движениях я был точен, тело работало привычно, но мысли не отпускали. Слова Агасфера о бессмертии, о наказании, о реликвии — они словно ждали момента тишины, чтобы снова всплыть. И вдруг подумал: если человек действительно прожил сотни лет... то какие приёмы защиты ему нужны, чтобы выжить так долго?

Я тряхнул головой, отгоняя нелепые мысли. Мне совершенно не хотелось снова замыкаться на этих странных людях, их загадочных разговорах и непонятных намерениях. Моя жизнь до недавнего времени текла спокойно и вполне предсказуемо, и меня это устраивало. Я никогда не стремился к приключениям ради самих приключений и не испытывал потребности постоянно искать за привычными вещами какой-то скрытый смысл. Наверное, со стороны меня можно было назвать человеком довольно простым, хотя я не считал это недостатком. Я был уравновешенным, терпеливым и скорее склонным уступить, чем вступить в бессмысленный спор. Не любил повышенных голосов, скандалов и выяснения отношений, предпочитал сначала выслушать человека, а уже потом отвечать. Если возникала проблема, я старался решить её спокойно и без лишних эмоций. На работе не участвовал в интригах, с соседями поддерживал доброжелательные отношения, не интересовался чужой жизнью и никогда не пытался вмешиваться туда, где меня не просили. Благодаря этому у меня почти не было врагов, а вместе с ними не было и большинства тех проблем, которые люди порой создают себе сами.

Когда тренировка закончилась, я вышел из спортивного зала, чувствуя приятную тяжесть во всём теле. В коридоре на длинной деревянной скамье сидела Бетти и, совершенно забыв обо всём вокруг, смотрела что-то на смартфоне. Судя по доносившимся звукам, это был очередной ролик из TikTok — короткое видео с какой-то нелепой сценкой, которую современный интернет почему-то счёл настолько смешной, что её посмотрели уже, наверное, несколько миллионов человек. Из телефона доносились обрывки музыки, женский смех, затем какой-то нарочито комичный голос, и Бетти, стараясь не рассмеяться слишком громко, прикрывала рот ладонью.

— Я всё, — сказал я, подходя к ней.

После тренировки от меня, наверное, действительно исходил довольно сильный запах пота. Я сам его почти не замечал, потому что давно привык к запаху собственного тела после физических нагрузок, но Бетти почему-то относилась к этому совершенно спокойно. Более того, ей даже нравилось, когда от меня пахло тренировкой. Она как-то сказала, что в этом есть что-то настоящее, не похожее на дорогие мужские духи, которыми некоторые мужчины пытаются скрыть отсутствие всякой физической активности. Возможно, она чувствовала в таком запахе что-то связанное с силой, здоровьем, движением, с обычной мужской работой тела. Наверное, именно такие естественные признаки когда-то и помогали людям выбирать друг друга задолго до появления парфюмерных магазинов, рекламы и фотографий в социальных сетях.

Я невольно подумал об Адаме и Еве, а затем сам же усмехнулся собственной мысли. Интересно, что чувствовала Ева, впервые увидев Адама? Хотя какой вообще у неё был выбор? Если верить библейской истории, в Раю их было всего двое. Впрочем, тогда я ещё не знал, насколько странным образом эта древняя история однажды войдёт в мою собственную жизнь.

— Я тебя подожду, — улыбнулась Бетти.

— Хорошо. Я только в душ и переоденусь.

Я направился в раздевалку, бросил рюкзак на скамью и прошёл в душевую. Тёплая вода ударила по плечам, стекла по спине и постепенно смыла с кожи пот, а вместе с ним словно начала уходить и накопившаяся за последние дни усталость. Я стоял под струями, закрыв глаза, и впервые за долгое время позволил себе ни о чём не думать. Не было ни Лилит в её красном костюме, ни Агасфера с его странной тростью, ни реликвии, существование которой я до сих пор считал полной нелепостью. Не было ни бессмертия, ни Самаэля, ни разговоров на латыни.

Была только вода.

Я почувствовал, как расслабляются мышцы шеи, как исчезает напряжение в плечах, а дыхание становится спокойным и ровным. Иногда человеку достаточно совсем малого, чтобы вернуться к самому себе. Горячий душ, знакомый запах шампуня, тишина закрытой душевой — и вот уже кажется, что всё происходившее за последние дни можно оставить за дверью вместе с мокрым полотенцем.

Я насухо вытерся, сложил в рюкзак кимоно, сменную одежду, полотенце и шампунь, затем переоделся и вышел обратно в коридор.

Бетти всё ещё сидела на прежнем месте и с таким вниманием смотрела в экран, будто от происходящего там зависела судьба человечества. Теперь героиня ролика, судя по всему, попала в какую-то очередную нелепую ситуацию: девушка что-то эмоционально рассказывала на камеру, за её спиной появился парень в костюме динозавра, а затем раздался взрыв смеха зрителей за кадром. Бетти тоже засмеялась, покачала головой и тут же пролистнула видео, переходя к следующей истории.

— Куда? — спросила она, наконец подняв глаза.

— Пойдём. Я хочу дёнер-кебаб, — сказал я. Только теперь, когда напряжение ушло, я почувствовал, насколько сильно проголодался. Тренировка забрала немало сил, и желудок настойчиво напоминал, что никакая сила воли не способна отменить простой закон природы: потраченные калории нужно восполнять.

Кебабница находилась на Линденплатц, недалеко от троллейбусной остановки. Мы зашли внутрь, и нас сразу окутал плотный, тёплый запах жареного мяса, свежего хлеба, чеснока, паприки и восточных специй. После улицы помещение показалось особенно уютным. Над стойкой висело ярко освещённое меню, на стенах были фотографии различных вариантов дёнера, а из кухни доносилось шипение раскалённого масла и негромкие голоса работников.

За прилавком трудились трое мужчин, по всей видимости турецкого происхождения. Один длинным ножом срезал тонкие румяные полоски мяса с вращавшегося вертикального вертела, и они с мягким шорохом падали в металлическую ёмкость. Другой быстро нарезал помидоры, салат и лук, время от времени добавляя соусы в небольшие контейнеры. Третий занимался картофелем: порции золотистых палочек одна за другой отправлялись в раскалённое масло и почти сразу начинали потрескивать, наполняя помещение ещё более аппетитным запахом.

Народу было довольно много. За несколькими столиками сидели студенты, неподалёку разговаривали двое рабочих в спецовках, а у стойки несколько человек терпеливо ждали своих заказов. Мы с Бетти нашли свободный столик у окна и сели.

Я почувствовал, как голод становится почти нетерпеливым. Когда нам наконец принесли дёнер, я понял, что заказал именно то, что нужно после тренировки. Тёплая лепёшка была плотно наполнена сочным мясом, хрустящим салатом, свежими помидорами, луком и соусом.

От неё шёл такой аромат, что даже разговоры вокруг на несколько секунд перестали меня интересовать. Бетти взяла свой дёнер обеими руками, осторожно откусила и довольно зажмурилась.

— Вкусно, мням-мням, — сказала она, улыбнувшись.

— Ага, — согласился я. — Люблю восточную кухню, особенно когда поострее.

Я откусил ещё кусок. Мясо оказалось горячим и сочным, соус смешался с пряностями и острым перцем, а тёплый сок и жир слегка обожгли губы. Я вытер рот салфеткой и только после этого понял, что Бетти смотрит на меня с улыбкой.

— Что?

— Ничего, — ответила она и снова принялась за свой дёнер.

Мы ели и улыбались друг другу, постепенно возвращаясь к самым обычным разговорам. На несколько минут мне даже удалось забыть обо всём, что произошло за последние дни. За окном проходили люди, у остановки подъезжал троллейбус, звенел сигнал светофора, а внутри пахло жареным мясом и свежим хлебом. Мир снова казался простым и понятным, каким я привык его видеть. И, пожалуй, именно этого мне тогда и хотелось больше всего.

За окном уже начинался закат. Солнце опускалось за городские крыши, и последние его лучи ложились на стекла домов длинными золотистыми полосами, постепенно становившись медными, а затем багровыми. Небо над Винтертуром очистилось после дневного тепла, и в нём ещё долго сохранялось то мягкое свечение, которое бывает только в конце хорошего весеннего дня. Деревья на улицах казались почти чёрными на фоне светлого горизонта, а молодая листва мерцала в последних лучах. Один за другим зажигались уличные фонари. Вокруг их жёлтого света уже кружились первые ночные бабочки, то приближаясь к стеклу, то снова исчезая в темноте. Где-то в кронах деревьев мелькнула белка, торопливо перебравшаяся с ветки на ветку, а издалека донёсся глухой, протяжный крик совы.

Я сидел напротив Бетти, доедал свой дёнер и почти физически ощущал, как усталость после тренировки постепенно уступает место приятной сытости. Мне было хорошо, спокойно, и на несколько минут я действительно забыл обо всём, что произошло за последние дни.

— Ты чего сегодня такой озабоченный? — вдруг спросила Бетти. — Ты как сам не свой.

Я поднял глаза и только тогда понял, что всё это время, наверное, действительно сидел перед ней с отсутствующим видом. Я словно ненадолго поднялся на облака — не от счастья, конечно, а от простой человеческой способности забыть о неприятностях, когда рядом находится близкий человек, когда перед тобой горячая еда, за окном красивый вечер, а впереди нет ничего, кроме дороги домой и обычного завтрашнего дня. Но вопрос Бетти вернул меня на землю. Заботы никуда не исчезли. Они просто на несколько минут отступили, дожидаясь, когда я снова о них вспомню.

— У меня были два странных клиента, — сказал я, запивая еду колой. — Одна женщина заказала мне энциклопедию всяких древностей. А потом был мужик, который требовал от меня какую-то реликвию.

— Какую реликвию?

— А чёрт его знает! У меня нет никаких реликвий, — раздражённо ответил я. — Я же не музей. Этот тип вообще заявил, что заплатит за какую-то вещь, которая якобы находится у меня, десять миллионов франков!

Бетти даже перестала жевать. Глаза у неё округлились.

— Ух ты! Ты серьёзно?

— Нет, шучу, — огрызнулся я, хотя никакого желания шутить у меня не было. — Не знаю, может, он просто издевался надо мной. Я в глаза никогда не видел таких денег.

— Я тоже, — призналась Бетти. — Самая большая купюра, которая когда-либо была у меня в руках, — тысяча франков.

— А я такие часто держу, — рассмеялся я. — На почте бывает, что людям приходится выдавать наличные, если банкомат не работает. Но сам я тысячными никогда не расплачиваюсь. Да и вообще наличными пользуюсь редко. Обычно плачу дебетовой картой PostFinance.

Бетти улыбнулась, но почти сразу снова стала серьёзной.

— А как звали этого мужика?

— Агасфер.

Она замерла. Это было настолько неожиданно, что я перестал улыбаться.

— Агасфер?

— Да.

Бетти несколько секунд молчала, будто пыталась вспомнить что-то из давно забытого.

— Я знаю это имя.

Я удивлённо уставился на неё.

— Знаешь? Ты знаешь этого человека?

— Нет, не его. — Она покачала головой. — Я знаю историю про Агасфера. Она связана с Иисусом.

— С кем?

— С Иисусом Христом. Ты разве никогда не слышал?

Я пожал плечами.

— Нет. Я же атеист. В церковь не хожу.

— Да, это я знаю, — вздохнула Бетти. — Ладно, мне пора домой.

Я посмотрел на часы и почувствовал лёгкое разочарование.

— Ты у меня не останешься? — спросил я с надеждой.

Бетти наклонилась ко мне, чмокнула в губы и улыбнулась.

— Прости. У сестрёнки завтра экзамен по английскому. Я обещала ей помочь подготовиться. Завтра увидимся.

— Окей, — вздохнул я. — Пока.

Бетти поднялась и почти бегом направилась к выходу. Как раз в этот момент к остановке подъехал красный троллейбус номер два. Двери открылись, выпуская нескольких пассажиров, и Бетти вскочила внутрь. Автобус мягко тронулся и вскоре исчез за поворотом, унося её в другой конец города, туда, где находился её дом.

Я ещё несколько секунд смотрел вслед удалявшемуся троллейбусу, а потом поднялся. Вытер руки салфеткой, выбросил пустую бутылку из-под колы в урну и вышел на улицу.

Вечерний воздух оказался заметно прохладнее дневного. Он приятно коснулся лица и шеи, и после душного помещения я почувствовал себя бодрее. В воздухе пахло влажной землёй, молодой листвой и где-то совсем рядом — цветущими кустами. Город постепенно переходил из дневного состояния в ночное: окна домов одно за другим загорались, по дорогам проходили машины, а прохожие торопились по своим делам.

Я решил идти домой пешком. Торопиться было некуда. Через несколько минут сам собой вспомнился фильм, который мы вчера смотрели с Бетти. Я поймал себя на том, что насвистываю мелодию «Canción del Mariachi» из «Отчаянного» — ту самую, с характерным латиноамериканским ритмом, которая после фильма почему-то долго не выходила из головы. Я даже представил Антонио Бандераса с гитарой и усмехнулся. Музыка была совершенно не вяжущейся с моим сегодняшним настроением, но, возможно, именно поэтому и помогала отвлечься.

Над улицей что-то бесшумно пролетело. Я машинально поднял голову и успел заметить крупную птицу, скользнувшую между ветвями. На мгновение в свете фонаря блеснули её круглые глаза, после чего она скрылась в листве. Сова.

Я продолжил идти, не придав этому никакого значения. Мало ли птиц летает по ночному городу? Если бы тогда мне сказали, что совсем скоро я начну искать смысл в каждой случайности, я бы только рассмеялся.

Моя двухкомнатная квартира находилась на Бургштрассе. Я жил один и обустроил её соответственно своим привычкам: ничего лишнего, но и особого стремления к минимализму у меня не было. В гостиной стоял широкий диван, напротив него — телевизор, рядом небольшой столик, на котором постоянно скапливались журналы, пульт от телевизора и какие-нибудь мелочи, которые я обещал себе убрать вечером, но редко убирал. У стены находился книжный шкаф, постепенно заполнявшийся книгами. Большую часть занимала приключенческая литература — от старых романов до современных триллеров, а рядом стояли книги по восточным единоборствам, истории боевых искусств и несколько альбомов о японской культуре.

На стенах висели постеры и картины, связанные с моими любимыми фильмами. Особенно мне нравились фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Я мог смотреть их снова и снова, прекрасно понимая, что некоторые сцены давно стали частью кинематографической истории и в реальной драке выглядели бы нелепо. Но разве мы любим кино только за реализм? Мне нравилась энергия этих фильмов, их ритм, характер героев, сама идея человека, который благодаря дисциплине и мастерству способен противостоять обстоятельствам.

Бетти этого не понимала. Когда она видела очередную сцену драки, то неизменно выпячивала губу и говорила, что всё это пропаганда хулиганства, после чего добавляла, что нормальному человеку гораздо полезнее посмотреть хорошую мелодраму. Я обычно спорил с ней ради удовольствия, прекрасно понимая, что ни один из нас не собирается менять мнение другого.

Я снял куртку, бросил ключи на полку и уже собирался пройти в комнату, когда взгляд случайно упал на комод. Там лежала Библия. Я остановился. Это была та самая книга, которую когда-то подарил мне отец. Я никогда не понимал, зачем он это сделал. Он прекрасно знал, что я атеист и религиозные книги меня практически не интересуют. В церковь я не ходил, Библию не читал, а все разговоры о вере воспринимал скорее как часть культурного наследия, чем как описание устройства мира.

И всё же выбросить или передарить книгу я не мог. Наверное, просто потому, что она принадлежала отцу. Я подошёл к комоду и взял её в руки. Книга была тяжёлой, в тёмной потёртой обложке. Углы давно истёрлись, поверхность кое-где покрылась мелкими царапинами. Страницы пожелтели, а от самой бумаги исходил тот особый сухой запах старых книг, который невозможно спутать ни с чем другим. Это была не новая Библия из магазина, а книга, которой действительно пользовались — или, во всяком случае, которую долго хранили.

Я раскрыл её. И снова увидел надпись отца. На первой странице, его почерком, было написано: «Kantonal Zürcher Bank, ячейка 2901, код 000033. Ты всё поймёшь, сын». Я несколько секунд просто смотрел на эти слова.

Они были написаны много лет назад. Я видел их раньше. Несколько раз открывал эту книгу, перелистывал первые страницы, но никогда не задавался вопросом, зачем отец оставил мне банковские реквизиты внутри Библии. Тогда это казалось очередной странностью пожилого человека, которая не имеет ко мне никакого отношения.

Теперь всё выглядело иначе. Я вспомнил Лилит. Потом Агасфера. Книгу про христианские артефакты. Две тысячи лет. Реликвию. Слова о моём отце. Я медленно сел на диван, продолжая держать Библию на коленях. В голове возникло неприятное ощущение, будто несколько совершенно независимых событий вдруг начали соединяться между собой, образуя цепочку, которую я раньше просто не замечал.

Почему отец написал это именно здесь? Почему он никогда не говорил мне о банковской ячейке? И почему именно сейчас, после разговора с Агасфером, я впервые подумал об этой записи всерьёз?

Я провёл пальцем по строчкам, затем снова открыл книгу. Мне неожиданно вспомнился вчерашний фильм. Те сцены, которые я смотрел ещё совсем недавно как зрелище, как историю двухтысячелетней давности, внезапно приобрели для меня какой-то иной смысл. Я начал перелистывать страницы, уже не особо понимая, что именно ишу. Мне хотелось найти то место, о котором говорилось в фильме, — описание последних часов жизни Иисуса.

Наконец я нашёл. И начал читать: «И, взяв Иисуса, повели. И, выйдя, они встретили одного Киринаянина, именем Симона; сего заставили нести крест Его. И когда пришли на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, вкусив, не хотел пить.

Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там. И поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский».

Я дочитал до конца абзаца и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Пальцы сами собой сжали переплёт. Я прижал ладонь ко лбу и несколько секунд сидел неподвижно. Меня действительно начало потряхивать — не от холода, а от ощущения, которое я никак не мог объяснить рационально. Перед глазами всплывали лица Лилит и Агасфера, их разговоры, странная книга, заказанная на моё имя, слова о реликвии и теперь — эта старая запись отца.

Я вдруг увидел между ними тонкую нить. Пока ещё едва заметную, почти призрачную, но существующую. И впервые за всю жизнь мне стало по-настоящему интересно узнать, что именно мой отец хотел сказать мне этой книгой.

Глава 5. Смерть Христа

Я понял, что сегодня уже не смогу уснуть, если не выясню хотя бы одну вещь. Мне хотелось знать, существовал ли Иисус на самом деле. До сих пор я никогда всерьёз об этом не задумывался. Для меня он был скорее фигурой из далёкого прошлого, частью религиозной традиции, такой же, как библейские цари, пророки и прочие персонажи, о которых я когда-то слышал от родителей, но никогда не испытывал желания узнать о них больше. Однако теперь всё изменилось. После фильма, после разговора с Лилит, после появления Агасфера и особенно после странных слов моего отца мне вдруг стало необходимо понять, кем был тот человек, вокруг имени которого на протяжении двух тысяч лет вращалась огромная часть истории человечества.

Мне хотелось верить хотя бы в одно: что Библия говорит не о вымышленном герое, а о реальном человеке, который действительно ходил по земле, разговаривал с людьми, спорил, убеждал, страдал и умер. Не обязательно даже принимать его божественную природу — этого я пока не мог сделать. Но если он существовал, если действительно говорил то, что ему приписывают, то передо мной был человек, который сумел изменить представление миллионов людей о добре, милосердии, вине, прощении и самом предназначении человеческой жизни. Независимо от того, верил кто-нибудь в его божественное происхождение или нет, влияние этого человека на цивилизацию было совершенно очевидным.

Но кем он был на самом деле? Как выглядел? Я задумался и невольно посмотрел на Библию. Перед моими глазами сразу возникли многочисленные изображения Иисуса, которые я когда-либо видел: в церквях, на картинах, в книгах, на календарях, в фильмах. Почти всегда передо мной представал высокий мужчина с длинными каштановыми или тёмно-русыми волосами, светлой кожей, правильными европейскими чертами лица и большими выразительными глазами. Иногда его изображали почти скандинавом — с тонкими чертами, длинными волосами и совершенно европейским обликом. В других случаях он выглядел как идеализированный итальянец или испанец.

Я вдруг понял, насколько странно это выглядит. Художники изображали Иисуса таким, каким представляли себе человека совершенным они сами. В Средние века европейский живо-

писец не мог написать человека, которого никогда не видел, опираясь на фотографию или антропологическую реконструкцию. Он создавал образ из собственного культурного опыта. И если художник жил в Италии, то лицо святого невольно приобретало итальянские черты; если в Германии — немецкие. Образ постепенно становился привычным, а привычное со временем начинало восприниматься как исторически достоверное.

Но ведь Иисус жил не в Европе. Я нахмурился.

— Но ведь Иисус жил в Израиле, — тихо произнёс я. — Это же не Европа. Там люди совсем другие.

Я вскочил с дивана и подошёл к книжному шкафу. Некоторое время перебирал корешки, пока не нашёл старую энциклопедию по антропологии, географии и этнографии. Книга была довольно тяжёлой, с потемневшими от времени страницами. Я положил её на стол, открыл оглавление и начал искать раздел о населении древней Палестины.

Наконец нашёл нужную страницу. Текст был написан старомодно. Некоторые термины сейчас уже почти не употреблялись, а часть классификаций, очевидно, относилась к антропологическим представлениям прошлых десятилетий. Я пробежал глазами несколько строк, а затем начал читать внимательнее.

В энциклопедии говорилось, что население Иудеи, Галилеи и соседних областей в начале первого века нашей эры относилось к древним народам Леванта и имело преимущественно ближневосточное происхождение. Основу населения составляли еврейские общины, говорившие на языках и диалектах семитской языковой группы. Внешность жителей региона определялась смешением древних популяций Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Для мужчин были характерны тёмные волосы — от чёрных до тёмно-каштановых, карие или тёмные глаза, кожа от светло-оливковой до смуглой, выраженные скулы и носы различной формы, нередко с достаточно сильным выступанием переносицы. Рост в среднем был ниже, чем у современных североευропейских популяций, хотя, разумеется, встречались люди самых разных типов.

Я задержал взгляд на последней фразе. Энциклопедия отдельно предупреждала, что подобные характеристики описывают лишь статистические особенности населения и не позволяют определить внешность конкретного человека.

— Семиты... — пробормотал я.

Я ещё раз перечитал несколько строк. В старой книге встречались и другие классификационные термины, которые сегодня выглядели странно и уже не соответствовали современной науке. Я понимал, что антропология давно отказалась от попыток разделить человечество на несколько чётких «расовых типов»: история миграций была гораздо сложнее, а внешность человека никогда не определялась одной простой схемой.

Но для моего вопроса это уже не имело большого значения. Я смотрел на страницу и постепенно представлял себе человека, жившего две тысячи лет назад.

— Значит, Иисус был евреем, — сказал я вслух. — Жителем Иудеи. Значит, он выглядел не так, как его обычно рисуют на европейских иконах.

Эта мысль почему-то произвела на меня сильное впечатление. Я взял карандаш и лист бумаги. Сначала просто поставил несколько линий, не понимая, что именно собираюсь нарисовать. Потом начал постепенно складывать лицо из тех немногих сведений, которые у меня были.

Тёмные, густые волосы. Скорее всего, не идеально уложенные и не падающие длинными аккуратными прядями, как на церковных картинах, а естественные, слегка волнистые, достигающие примерно до шеи. Тёмные глаза — карие, внимательные. Кожа не белая, как на большинстве европейских изображений, а с тёплым оливковым оттенком, который мог становиться темнее под палящим ближневосточным солнцем. Лицо худощавое, несколько вытянутое, с

выраженными скулами. Нос крупнее и заметнее, чем у привычного мне церковного образа. Борода — короткая, естественная, такая, какую мог носить мужчина того времени.

Я сделал паузу. Почему-то мне не хотелось рисовать его красивым в обычном смысле слова. Не хотелось делать идеальное лицо с симметричными чертами и загадочной улыбкой. Если это действительно был человек, живший в Иудее первого века, то он должен был выглядеть как человек своей эпохи, а не как модель из европейского журнала.

Я продолжил рисовать. Получился мужчина лет тридцати с небольшим. Худой, жилистый, с телом человека, привыкшего много ходить пешком. В нём не было ничего от придворного аристократа или кабинетного учёного. Скорее, лицо странника — человека, который долго находится под открытым небом, много разговаривает, спорит, убеждает и привык смотреть прямо на собеседника.

Я отложил карандаш и посмотрел на рисунок. Получилось совсем не то лицо, которое я привык видеть на иконах. И всё же оно почему-то казалось мне более правдоподобным.

Я ещё долго смотрел на него, пытаюсь представить, каким был этот человек в действительности. Как звучал его голос? Как он смеялся? Как смотрел на людей, когда они спорили с ним? Каким становилось его лицо, когда он сердился? Как он ходил по пыльным дорогам Галилеи? Что чувствовал, когда вокруг него собиралась толпа?

И вдруг я поймал себя на странной мысли. Мне казалось, что я не просто рисую историческую реконструкцию. Я словно пытался увидеть лицо человека, которого уже однажды видел.

Я вздохнул и провел ладонью по волосам, пытаюсь привести мысли в какой-то порядок, хотя понимал, что в эту ночь порядок в моей голове уже вряд ли был возможен. Потом машинально взглянул на часы и увидел, что стрелки показывают три часа утра. В нормальных обстоятельствах я давно должен был спать, поскольку утром мне предстоял обычный рабочий день на почте, но сон почему-то совершенно не приходил, а мысли, напротив, становились все более настойчивыми и не позволяли даже попытаться отвлечься. Я уже собирался отложить Библию и все эти странные вопросы до следующего дня, когда вдруг вспомнил о своем соседе, старике Мартине Флюккигере, бывшем хирурге Кантонального госпиталя Винтертура, известного всем как KSW, который вышел на пенсию еще десять лет назад, но, насколько я знал, окончательно отойти от медицины так и не смог.

Мартин относился к тем пожилым людям, чей распорядок жизни постепенно перестраивается совершенно иначе, чем у молодых. Он спал немного, часто просыпался среди ночи, мог часами читать, просматривать старые медицинские журналы, делать записи или работать за компьютером. Иногда я встречал его утром, когда сам только собирался на работу, а он возвращался с прогулки или уже успевал сходить в магазин. Поэтому я почти не сомневался, что и сейчас он бодрствует и, скорее всего, сидит у себя за письменным столом. Взяв Библию с собой, я вышел из квартиры, поднялся на пятый этаж и позвонил в его дверь.

Ждать долго не пришлось. Примерно через полминуты за дверью послышались неторопливые шаги, после чего замок повернулся и дверь открылась. На пороге стоял Мартин Флюккигер — высокий, худощавый старик лет семидесяти пяти, хотя выглядел он несколько моложе своего возраста. Его седые волосы были коротко подстрижены и слегка растрепаны, словно он действительно только что оторвался от книги или письменного стола. Лицо у него было вытянутое, с высоким лбом, глубокими морщинами вокруг глаз и тонкими губами, которые почти всегда складывались в выражение спокойной, немного ироничной улыбки. Несмотря на возраст, взгляд у него оставался удивительно ясным и внимательным, а привычка хирурга внимательно смотреть на собеседника никуда не исчезла: казалось, он не просто видел человека перед собой, а автоматически замечал его состояние, выражение лица, движения и даже то, насколько тот устал.

На нем были темно-синие домашние брюки из мягкой ткани и светло-серая хлопчатобумажная рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, поверх которой он накинул тонкий бордо-

вый кардиган. На ногах были шерстяные носки и мягкие домашние тапочки. Никакого халата, никаких признаков той больничной среды, в которой прошла большая часть его профессиональной жизни, однако даже в домашней одежде Мартин сохранял какую-то старомодную аккуратность, свойственную людям его поколения.

Увидев меня, он почему-то совершенно не удивился, хотя визит соседа в три часа ночи, пожалуй, мог бы насторожить любого нормального человека.

— Не спится, Марк? — спросил он с легкой, почти веселой улыбкой. — На почте столько дел, что даже дома не получается перестать заниматься работой?

— Эх, герр Флюккигер, если бы так, — вздохнул я. — Я тут занялся религиозными аспектами.

Он чуть приподнял брови, посмотрел на Библию у меня в руке и тихо усмехнулся.

— Так это не ко мне, это вам к падре. Но падре живет в другом доме, — сказал он с совершенно серьезным выражением лица, хотя в глазах его уже появился смех. — Впрочем, заходите. Буду рад пообщаться даже на религиозные темы. Мне все равно, как старику, не спится. Да и сплю я мало — часов пять максимум. У нас теперь совсем другой режим жизни.

— Да, понимаю, — кивнул я, хотя прекрасно знал, что до такого режима мне еще жить и жить. Старость пока казалась мне чем-то настолько далеким, что я практически не задумывался о ней, а Мартин, стоявший передо мной в дверях, был первым человеком моего окружения, на примере которого я действительно мог увидеть, насколько иначе человек начинает воспринимать время, когда большая часть жизни уже осталась позади.

Герр Флюккигер сделал шаг в сторону, освобождая мне дорогу, и я вошел в квартиру. Это было просторное пятикомнатное жилище с очень удачной планировкой, высокими потолками и большими окнами, которые днем, наверное, наполняли комнаты естественным светом. Мартин за свою профессиональную жизнь заработал достаточно, чтобы позволить себе не экономить на комфорте, причем слово «достаточно» в его случае было слишком скромным и совершенно не отражало реального уровня его достатка. Я знал, что даже после выхода на пенсию он иногда соглашался консультировать коллег или приезжал в госпиталь, если требовалась его помощь во время особенно сложной операции. Он говорил об этом совершенно спокойно, без хвастовства, словно для него хирургия давно перестала быть просто профессией и превратилась в часть собственной личности, от которой невозможно отказаться одним решением об уходе на пенсию.

Квартира Мартина больше всего напоминала одновременно библиотеку, частную галерею и музей, созданный человеком исключительно для себя. Почти каждая свободная стена была занята картинами, гравюрами или фотографиями, среди которых встречались как современные работы, так и старинные пейзажи в тяжелых деревянных рамах. Вдоль стен стояли высокие книжные шкафы из темного дерева, заполненные книгами до самого верха, причем рядом с медицинскими справочниками, анатомическими атласами и монографиями по хирургии находились философские труды, исторические исследования, книги по искусству, религиоведению и античной истории. На небольших постаментах и специальных полках размещались различные предметы искусства: бронзовые фигурки, керамика, небольшие скульптуры, странные на вид современные инсталляции, смысл которых я порой совершенно не понимал. Некоторые вещи Мартин привез из поездок, другие, насколько я знал, покупал у коллекционеров и на аукционах.

Все это создавало странное, но удивительно гармоничное ощущение. В квартире не было показной роскоши, которую человек выставляет напоказ, желая продемонстрировать окружающим свое богатство. Скорее, казалось, что Мартин просто много лет собирал вокруг себя вещи, которые были ему интересны, и постепенно его жилище превратилось в отражение всей его жизни: медицины, искусства, истории, путешествий, книг и тех знаний, которым он посвящал десятилетия.

За большими окнами тускло светила луна, частично скрытая тонкой полосой облаков. Ее свет едва проникал в комнату сквозь стекло, ложась бледными серебристыми пятнами на подоконник и темный деревянный пол. Где-то далеко мерцали отдельные окна домов, а редкие фонари освещали пустые улицы. Винтертур в этот час казался совсем другим городом — непривычно тихим, почти неподвижным, словно вся его дневная жизнь на несколько часов исчезла и оставила после себя только редкие огни, тени зданий и едва различимый шум машин на отдаленной дороге.

В одной из комнат горела настольная лампа с широким абажуром, создавая вокруг письменного стола теплый круг света. На столе стоял компьютер, рядом лежала стопка исписанных листов, несколько медицинских журналов, открытая книга и толстая тетрадь, испещренная мелким аккуратным почерком. По тому, как были разложены бумаги, становилось понятно, что Мартин действительно работал, а не просто проводил время за чтением.

— Я тут по профессии пишу, — сказал он, заметив мой взгляд, и улыбнулся. — Хочу передать свои знания и опыт молодежи. Все-таки десять лет в отставке — это еще не означает, что голова должна перестать работать.

— Хорошее занятие, — поддержал я, разглядывая лежавшие на столе страницы.

— Думаю, молодым хирургам иногда полезно узнать, какие ошибки совершали мы, прежде чем они начнут совершать свои собственные, — ответил он с легкой усмешкой. — Впрочем, мои ошибки уже достаточно старые, чтобы я мог рассказывать о них спокойно.

Он прошел в сторону кухни, а потом обернулся ко мне.

— Может, кофе? — предложил вдруг пенсионер. — Раз уж вы пришли ко мне в три часа ночи с Библией, подозреваю, разговор у нас будет не на пять минут.

— Не откажусь, — ответил я и присел за стол.

Мартин прошел на кухню и включил кофейную машину. Я слышал, как он что-то переставляет, открывает контейнер с зернами, после чего внутри аппарата раздалось низкое, почти механическое урчание. Когда я подошел ближе, то невольно остановился, рассматривая его кофейную машину. Это был явно не тот бытовой агрегат за сто или двести франков, который можно встретить на обычной кухне. Передо мной стояла настоящая профессиональная машина, больше похожая на небольшой промышленный аппарат, чем на кофеварку для домашнего использования.

На металлическом корпусе блестели хромированные детали, два круглых манометра показывали давление, рядом находились массивные ручки подачи воды и пара, а на передней панели располагались кнопки и небольшие индикаторы. На боковой части красовалась эмблема итальянского производителя La Marzocco, а ниже была указана модель. Мартин как-то рассказывал мне, что купил ее несколько лет назад и заплатил около пяти тысяч франков, причем отдельно потратился на кофемолку, которая тоже выглядела так, словно предназначалась для небольшого кафе.

Я тихо присвистнул, когда увидел цифру на ценнике в старой наклейке, сохранившейся на упаковке, и подумал, что мой сосед действительно умел превращать даже самые обычные вещи в маленькие предметы роскоши. Для меня кофе оставался напитком, который можно было приготовить за пару минут практически в любой машине, а для Мартина, судя по всему, это было уже почти отдельное ремесло со своими правилами, температурой, давлением, степенью помола и, вероятно, еще десятком параметров, о которых я даже не подозревал.

Из кофейной машины послышалось тихое шипение, затем аппарат загудел, внутри что-то зашуршало, и в комнате постепенно появился густой аромат свежемолотых и обжаренных кофейных зерен. Этот запах был совсем не похож на тот, который обычно стоял у меня дома после растворимого кофе: в нем чувствовались ореховые, слегка шоколадные и даже немного карамельные оттенки, а за ними — едва уловимая горечь свежей обжарки. Через несколько секунд из металлических носиков в чашки начала стекать темно-коричневая струя, покры-

тая сверху плотной золотисто-коричневой пенкой. Теплый аромат мгновенно заполнил кухню, смешиваясь с запахом дерева, книг и ночного воздуха, который проникал из приоткрытого окна.

Мартин поставил передо мной небольшую фарфоровую чашку. Я взял ее обеими руками, сделал осторожный глоток и на мгновение забыл, зачем вообще пришел к соседу посреди ночи. Кофе оказался густым, но не тяжелым, с мягкой горчинкой, которая быстро сменялась легкой сладостью, а во вкусе действительно чувствовались шоколад и жареные орехи. Он не был ни пережженным, ни кислым, и оставлял после себя длинное, теплое послевкусие. Я никогда не считал себя большим знатоком кофе, однако после первого глотка понял, что напиток, который я обычно пил на работе из автомата, находился от этого эспresso примерно так же далеко, как дешевый складной нож от хорошего хирургического инструмента.

— Ну как? — спросил Мартин, заметив мое выражение лица.

— Теперь я понимаю, почему вы отдали за эту машину столько денег, — признался я. — Это действительно что-то невероятное.

Он удовлетворенно улыбнулся и сел напротив, поставив свою чашку рядом с рукописями.

— Хороший кофе иногда помогает думать, — сказал он. — Особенно ночью, когда организм считает, что его давно пора оставить в покое, а голова почему-то придерживается другого мнения.

Он некоторое время смотрел на меня поверх чашки, а затем спросил уже серьезнее:

— И что же вас беспокоит?

Я положил ладонь на Библию.

— Библия, — ответил я. — Жизнь и смерть Иисуса.

— Вот как? — Мартин откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня внимательнее. — И что именно?

Я немного помолчал, пытаюсь подобрать слова. Мне было непросто сформулировать то, что я хотел узнать, потому что до сегодняшнего вечера я вообще не воспринимал эту историю как предмет, который можно рассматривать с точки зрения обычной человеческой физиологии. Для меня распятие всегда оставалось частью религиозного повествования, знаком, изображением на стенах церквей, страницей в Библии, а теперь я вдруг захотел представить себе не символ, а живого человека, который действительно находился на кресте и умирал.

— Как врач... как хирург, — наконец сказал я, — опишите мне, что испытывал Иисус на кресте. Не с точки зрения веры, а с точки зрения медицины. Что происходило с его телом? Что именно причиняло ему боль? Почему человек умирал от распятия? В Библии об этом почти ничего не говорится, но вы ведь хирург. Вы знаете, что происходит с организмом в подобных обстоятельствах.

Мартин не ожидал такого вопроса. Я заметил, как он на несколько секунд опустил взгляд на стол, словно мысленно перестраивал разговор из области религии в область медицины. Потом он поставил чашку и сцепил пальцы.

— М-да, — произнес он наконец. — Вы правы. Как хирург я могу объяснить, что происходило с организмом распятого человека, хотя сразу должен предупредить: точную причину смерти Иисуса установить невозможно. Мы не имеем медицинской документации, не можем исследовать тело и не знаем всех обстоятельств казни. Кроме того, описания Евангелий очень кратки. Поэтому врач может говорить только о том, что обычно происходило с человеком при римском распятии.

Он немного помолчал, а затем продолжил уже тем тоном, каким, вероятно, когда-то объяснял сложные вещи своим молодым коллегам.

— Прежде всего нужно понимать, что распятие было не просто способом удержать человека на деревянной конструкции. Оно сочетало сразу несколько факторов, каждый из которых сам по себе мог быть смертельно опасным. Перед казнью человека могли жестоко избить, а

после этого его заставляли нести или тащить часть креста. Если речь идет об Иисусе, то евангельские тексты прямо говорят о бичевании. Значит, еще до того, как его прибили к кресту, организм уже находился в состоянии тяжелого физического истощения, испытывал сильнейшую боль и терял кровь.

Мартин взял ручку со стола и задумчиво покрутил ее между пальцами.

— Затем наступала сама фаза распятия. При повреждении кистей или области запястий, а также стоп возникает не просто поверхностная боль. Там находятся нервы, сухожилия, сосуды, поэтому любое движение тела на кресте становится крайне болезненным. Человек пытается изменить положение, чтобы облегчить дыхание или уменьшить нагрузку на поврежденные участки, но практически любое такое движение вызывает новую волну боли.

— А дыхание? — спросил я.

— Вот это особенно важно, — ответил Мартин. — Популярное объяснение состоит в том, что человек на кресте просто задыхается из-за положения тела, но современная медицина относится к этому сложнее. При распятии грудная клетка и мышцы плечевого пояса оказываются в крайне неудобном положении. Чтобы сделать полноценный вдох, человеку приходится прилагать дополнительные усилия, а при ослаблении организма дыхание постепенно становится все менее эффективным. Если человек пытается приподняться на ногах или опереться на поврежденные конечности, чтобы изменить положение тела, он испытывает сильнейшую боль. Но если он перестает это делать из-за истощения, дыхание также может становиться тяжелее.

Мартин говорил спокойно, без театральности, и именно это делало его рассказ особенно тяжелым. Передо мной сидел не проповедник и не историк, который пытался вызвать у меня религиозные чувства, а человек, прошедший десятилетия в операционной и привыкший смотреть на человеческое тело без всякой мистики.

— Кроме того, — продолжил он, — нельзя забывать о кровопотере, обезвоживании, высокой температуре, физическом истощении и травматическом шоке. Если до распятия действительно было тяжелое бичевание, то состояние человека уже могло быть крайне тяжелым. Организм начинает испытывать недостаток жидкости, сердце вынуждено работать с большей нагрузкой, кровяное давление падает, ткани получают меньше кислорода. При дальнейшем ухудшении могут нарушаться функции почек, мозга, сердца и других органов.

— То есть человек все это время оставался в сознании?

— Не обязательно все время, — ответил Мартин. — Сознание могло постепенно нарушаться. Сильная боль, потеря крови, обезвоживание, недостаток кислорода, шок и общее истощение могли приводить к спутанности сознания, слабости, периодам почти полной потери сил. Но человек мог оставаться в сознании значительно дольше, чем хотелось бы представить. Именно поэтому распятие и считалось столь мучительной казнью: смерть могла наступать не сразу.

Он поднял глаза на меня.

— И здесь важно еще одно. Нельзя сказать: «Иисус умер именно от удушья» или «он умер именно от потери крови». Такое утверждение было бы слишком категоричным. Скорее всего, речь шла о совокупности тяжелых физиологических нарушений. Сердечно-сосудистая недостаточность, шок, нарушение дыхания, обезвоживание, травмы и общее истощение могли действовать одновременно. В какой-то момент организм просто переставал справляться.

Я молча смотрел на него, и почему-то именно последнее объяснение показалось мне самым страшным. Не один конкретный удар, не одна рана и не один момент, который можно было бы назвать единственной причиной смерти, а постепенное разрушение всех систем организма, когда человек еще жив, но тело уже почти не способно поддерживать собственную жизнь.

— А сколько времени он мог умирать? — спросил я.

Мартин задумался, затем посмотрел на Библию, лежавшую между нами.

— Если исходить именно из Евангелия от Марка, получается около шести часов, — сказал он. — Но я бы не стал воспринимать эту цифру как универсальный медицинский срок. Продолжительность распятия могла сильно различаться в зависимости от состояния человека, характера предварительных травм, способа распятия и других обстоятельств. В случае Иисуса шесть часов вполне укладываются в описанную последовательность событий, особенно если учитывать предварительное бичевание и физическое истощение.

Он протянул руку к моей Библии.

— Давайте посмотрим, что именно написано.

Я передал ему книгу. Мартин открыл Евангелие от Марка, перелистал несколько страниц и остановился на пятнадцатой главе.

— Вот, — сказал он, проводя пальцем по тексту. — Здесь говорится, что Иисус был распят в третий час.

Он прочитал короткую строку: «Был час третий, и распяли Его». Мартин перелистнул несколько страниц дальше по тому же отрывку, а затем продолжил:

— А смерть описана ближе к девятому часу. Получается промежуток примерно с девяти часов утра до трех часов дня, если использовать тогдашний способ отсчета времени.

Он снова посмотрел на меня.

— Поэтому в рамках этого евангельского рассказа получается около шести часов. Причем последние минуты описаны очень коротко: Иисус громко воззвал и затем умер.

Я почувствовал, как по спине прошел холод, хотя в квартире было тепло. До этого момента я читал эти строки как текст, как часть древней книги, которую когда-то оставил мне отец. Теперь же передо мной лежала та же самая страница, но за словами вдруг возникло человеческое тело, измученное, обезвоженное, истощенное и постепенно теряющее способность сопротивляться смерти.

И впервые я подумал, что, возможно, именно поэтому эта история пережила две тысячи лет. За религиозным смыслом, за догматами, спорами и тысячами изображений оставалось то, о чем я прежде почти никогда не задумывался: когда-то очень давно на кресте действительно мог находиться живой человек, который чувствовал боль, страх, слабость, жажду и приближение смерти, как чувствовал бы их любой другой человек.

— А что вы скажете о... воскрешении? — спросил я после некоторого молчания.

В глазах пенсионера вспыхнули веселые искорки, и на его лице появилась та самая добродушная улыбка, которую я уже не раз замечал, когда Мартин слышал от меня что-нибудь наивное или неожиданное.

— Марк, — произнес он, слегка покачав головой, — я шестьдесят лет в медицине, и за все эти годы ни один человек, которого медицина признала действительно умершим, не ожил у меня на глазах. Медицина пока не научилась возвращать человека из состояния необратимой смерти. Но здесь есть важное различие, которое необходимо понимать: существует клиническая смерть и существует биологическая смерть, и между этими понятиями проходит очень существенная граница.

— Что это такое?

Мартин откинулся в кресле и, немного подумав, заговорил уже совершенно по-учительски, но без малейшей назидательности.

— Клиническая смерть — это состояние, при котором человек перестает подавать очевидные признаки жизни: прекращается нормальное дыхание, останавливается кровообращение, сердце перестает эффективно перекачивать кровь. С точки зрения обычного наблюдателя человек выглядит мертвым, однако в организме еще некоторое время сохраняются процессы, которые теоретически можно восстановить. Именно поэтому в такой ситуации врачи начинают реанимацию: непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, дефибрилляцию, если она показана, лекарственную терапию и другие мероприятия. Пока клетки мозга и других

органов не получили необратимых повреждений, существует возможность вернуть человека к жизни.

— А биологическая смерть?

— Это уже другое, — ответил Мартин. — При биологической смерти повреждения становятся необратимыми. Клетки мозга погибают, затем необратимые изменения происходят и в других тканях. Сердце можно заставить сокращаться искусственно, кровь можно циркулировать с помощью аппарата, отдельные органы можно поддерживать, но вернуть человека как целостную живую систему медицина уже не может. Именно поэтому врачам так важно начинать реанимацию как можно раньше. Каждая минута без нормального кровоснабжения мозга уменьшает вероятность благоприятного исхода.

Он на секунду замолчал, а затем добавил:

— Правда, и здесь нет абсолютно простой границы. Состояние организма зависит от температуры, причины остановки сердца, возраста человека, наличия заболеваний и множества других факторов. При глубоком переохлаждении, например, обмен веществ настолько замедляется, что мозг может дольше переносить недостаток кислорода. Поэтому в медицине существует довольно важное правило: человека с тяжелой гипотермией нельзя преждевременно считать погибшим только потому, что у него не определяется обычный пульс. Иногда сначала необходимо согреть его, а уже потом делать вывод о необратимости состояния.

Я посмотрел на него и вспомнил слова из Библии, которые прочитал совсем недавно.

— Но Иисус оживлял мертвых. Так написано в Библии.

Я раскрыл книгу, перелистал несколько страниц и нашел нужное место.

— Вот, например, Лазарь. Евангелие от Иоанна, — сказал я и прочитал: «Иисус же, ведя очи к небу, сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав сие, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший».

Я поднял глаза на Мартина.

— Получается, человек был уже мертв, а потом ожил.

Мартин некоторое время молчал, глядя на страницу Библии. В его лице не было ни раздражения, ни желания посмеяться над моими словами. Напротив, он выглядел задумчивым, словно прекрасно понимал, что сейчас перед ним находится не медицинская задача, которую можно решить привычными методами, а вопрос, лежащий совсем в другой области.

— Я не буду спорить с религиозными догматами, — мягко сказал он наконец. — Религия и наука — это разные способы осмысления мира и человеческой жизни, и порой они действительно находятся очень далеко друг от друга. Если человек верит в чудо, медицина не может провести лабораторный эксперимент и доказать ему, что чуда быть не могло. Но как врач я могу говорить только о тех явлениях, которые мы способны наблюдать, измерять и воспроизводить.

Он взял чашку кофе, сделал небольшой глоток и продолжил:

— При этом медицина действительно знает случаи, которые еще сто лет назад могли бы показаться настоящим чудом. Особенно интересны случаи тяжелого переохлаждения. Например, была такая пациентка — Анна Багенхольм, шведская врач. В 1999 году она во время катания на лыжах провалилась в ледяную воду, оказалась подо льдом и провела там около восьмидесяти минут, прежде чем спасатели смогли ее извлечь. Когда ее доставили в больницу, температура тела была настолько низкой, что речь шла о глубочайшей гипотермии. Сердце остановилось, а кровообращение поддерживалось уже медицинскими методами, включая экстракорпоральное кровообращение и согревание организма.

Мартин поставил чашку на стол.

— Ее состояние было настолько тяжелым, что обычный человек, не знакомый с медициной, наверняка сказал бы: «Она умерла». Но врачи продолжали реанимационные мероприятия.

Организм оказался способен пережить то, что при нормальной температуре почти наверняка привело бы к необратимой гибели мозга. После согревания сердечная деятельность восстановилась. Она выжила и впоследствии смогла вернуться к нормальной жизни, хотя восстановление заняло много времени.

Я нахмурился.

— То есть она была мертва?

Мартин покачал головой.

— Вот здесь и заключается самое важное. Мы не можем автоматически назвать ее биологически мертвой только потому, что сердце остановилось. У нее было крайне тяжелое состояние, фактически остановка кровообращения, но глубокое переохлаждение одновременно замедлило обмен веществ и защитило ткани от быстрого разрушения. Именно поэтому такие случаи не опровергают медицинское понимание смерти, а, наоборот, показывают, насколько сложен сам процесс перехода от жизни к необратимой смерти.

Он посмотрел на меня поверх очков.

— Представьте себе человека, у которого остановилось сердце. Если начать реанимацию через несколько секунд или минут, шансы могут быть весьма высокими. Если пройдет слишком много времени, вероятность необратимого поражения мозга резко возрастает. А если организм сильно охлажден, этот процесс может замедляться. Поэтому иногда человек, который кажется совершенно безжизненным, все еще может быть спасен. Но это не воскресение в религиозном смысле. Это возвращение организма из состояния, которое еще не стало необратимым.

— Но ведь сердце можно запустить снова даже после довольно долгого времени?

— Иногда, да. И именно поэтому врачи не должны слишком рано опускать руки, — ответил Мартин. — Но восстановить работу сердца — еще не значит вернуть человека к полноценной жизни. Нам важно добиться восстановления кровообращения, дыхания, а главное — сохранить функцию мозга. Можно заставить сердце снова сокращаться, но если мозг получил необратимое повреждение, это уже совсем другая ситуация.

Он задумался, а затем добавил:

— В случае Лазаря из Евангелия ситуация описана совершенно иначе. Там утверждается, что человек находился в гробнице уже несколько дней. С медицинской точки зрения после такого срока говорить о клинической смерти и успешной реанимации уже невозможно. Если принимать евангельский рассказ буквально, то медицина не имеет для этого объяснения.

Я смотрел на него, ожидая, что он сейчас скажет что-нибудь насмешливое или окончательно поставит точку в разговоре, однако Мартин лишь спокойно пожал плечами.

— Поэтому я, как врач, не могу вам сказать, что произошло с Лазарем. Я могу сказать только, что если события происходили именно так, как они описаны в Евангелии, то это не случай клинической смерти в том медицинском смысле, о котором мы говорили. Это уже утверждение о чуде, а чудо невозможно исследовать теми же методами, которыми мы исследуем остановку сердца или гипотермию.

Он развел руками, словно признавая границу собственных знаний.

— Такие случаи, как с Багенхольм, чрезвычайно интересны, но они объясняются сочетанием физиологических факторов. Глубокое переохлаждение, своевременная помощь, современные методы реанимации, особенности организма — все это вместе может привести к исходу, который кажется невероятным. Но это редкие случаи, Марк, просто удивительное сочетание различных обстоятельств. Они не доказывают воскресение и не опровергают его. Они лишь показывают нам, что даже в рамках обычной биологии жизнь иногда оказывается гораздо устойчивее, чем мы привыкли думать.

Я медленно закрыл Библию, но руку с ее обложки не убрал. Слова Мартина почему-то не успокоили меня, хотя я пришел к нему именно за рациональным объяснением. Напротив,

после этого разговора граница между тем, что я считал невозможным, и тем, что медицина действительно могла объяснить, стала для меня гораздо менее четкой. И впервые за эту ночь я поймал себя на мысли, что вопрос о воскресении Иисуса тревожил меня уже не только как религиозная история из древней книги.

Глава 6. Банковская ячейка

Вернувшись от пенсионера-хирурга, я лег спать и, к своему удивлению, довольно быстро уснул. Возможно, подействовал кофе, а может быть, организм наконец решил взять свое после нескольких бессонных ночей и непрерывного потока мыслей, которые в последнее время не давали мне спокойно отдохнуть. Однако спал я недолго. Около восьми часов утра я уже открыл глаза и несколько секунд лежал, глядя в потолок и пытаясь понять, почему проснулся так рано.

На смартфоне оказалось сообщение от Бетти: «У меня всё хорошо. Люблю. Целую».

От этих нескольких слов мне стало тепло на душе. Я перечитал сообщение еще раз, улыбнулся и некоторое время просто лежал, держа телефон в руке. В последнее время вокруг меня происходило слишком много странного, и от этого короткого сообщения вдруг появилось ощущение чего-то совершенно обычного и надежного. Бетти была частью моей нормальной жизни, той самой жизни, которая еще совсем недавно казалась мне простой и понятной: работа, спорт, встречи с друзьями, поездки, книги, кино и вечера вдвоем.

Сегодня я отдыхал, поэтому на работу можно было не идти. Возник естественный вопрос: как провести день? Можно было отправиться в лес, погулять несколько часов, подышать свежим воздухом и просто побыть наедине с природой. Можно было поехать в бассейн и поплавать, что после последних напряженных дней тоже казалось неплохой идеей. А еще я подумал, что можно позвонить Бетти и предложить ей выбраться вместе: например, сесть на корабль и отправиться по Цюрихскому озеру до Рапперсвилля, провести несколько часов на воде, погулять по старому городу и вечером вернуться обратно.

Я уже почти решил написать Бетти, когда мой взгляд случайно упал на Библию, лежавшую на столе. Настроение изменилось почти мгновенно. Перед глазами снова возник ночной разговор с Мартином, его спокойный голос, рассуждения о смерти, клиническом состоянии, необратимости, а затем — слова о Лазаре и воскресении. Я почувствовал неприятную тяжесть внутри, словно какая-то мысль, которую я пока не мог сформулировать, настойчиво требовала моего внимания.

Я встал, подошел к столу и взял Библию в руки. Некоторое время просто держал ее, а потом открыл на первой странице, где была сделана отцовская запись: «Kantonal Zürcher Bank, ячейка 2901, код 000033. Ты всё поймёшь, сын».

Я перечитал ее несколько раз.

— О чем писал папа? — тихо спросил я сам себя. — Что он оставил там для меня?

Еще совсем недавно эта запись казалась мне бессмысленной странностью, которую отец почему-то решил оставить после себя. Теперь же она воспринималась совершенно иначе. В памяти одна за другой всплывали встречи последних дней: холодные глаза Лилит, ее странный интерес к книге о христианских реликвиях, появление Агасфера, его рассказ о двухтысячелетнем наказании, разговор о какой-то реликвии, которую мой отец якобы хранил или, по крайней мере, знал, где она находится. Затем была Библия, которую отец оставил мне, и теперь эта запись о банковской ячейке.

Все эти события по отдельности можно было попытаться объяснить случайностью, совпадением или даже моей собственной склонностью связывать между собой вещи, которые на самом деле никак не связаны. Но вместе они складывались в такую последовательность, что игнорировать ее становилось все труднее.

Я никогда не был клиентом Kantonal Zürcher Bank и вообще почти не имел с этим учреждением никаких дел. Свои деньги я хранил в PostFinance, что было для меня вполне естественно: я работал в почтовой системе и хорошо знал эту структуру, поэтому никогда не испытывал необходимости искать какой-то другой банк. У отца, насколько мне было известно, действительно могли быть свои финансовые дела, но о какой-либо банковской ячейке он никогда со мной не говорил.

Я снова посмотрел на цифры. Слишком конкретно для случайной записи.

— Надо проверить, что там, — решил я.

После этого долго размышлять уже не стал. Я быстро прошел на кухню, поставил на плиту сковороду и разбил два яйца. Завтрак получился самым простым из возможных: яичница с немного поджаренными краями и стакан холодного томатного сока. Обычно я мог спокойно готовить себе еду, не торопясь, но сегодня мысли настолько занимали голову, что через несколько минут тарелка уже стояла на столе. Я почти механически съел завтрак, допил сок, убрал посуду в мойку и отправился одеваться.

Через четверть часа я уже был готов. Надел джинсы, светлую рубашку, легкую куртку и удобные туфли, сунул бумажник и смартфон в карманы, еще раз проверил документы, после чего взял ключи от машины.

На улице меня встретил свежий утренний воздух. Ночь окончательно отступила, и Винтертур постепенно возвращался к своему обычному дневному ритму. Над крышами домов висело чистое светлое небо, солнце еще не поднялось достаточно высоко, чтобы сделать воздух теплым, поэтому утро ощущалось прохладным и бодрящим. На дорогах уже появилось достаточно машин, велосипедисты спешили по своим делам, возле остановок собирались люди, а из открывающихся кафе и пекарен на улицу доносились запахи свежего хлеба и кофе.

Я спустился к месту, где был припаркован мой Volkswagen Golf, открыл машину и сел за руль. Двигатель завелся почти сразу. Несколько минут спустя я уже ехал по улицам Винтертура, наблюдая за тем, как город окончательно просыпается. Утренняя суета казалась совершенно обычной, и именно поэтому мне было немного странно осознавать, что я еду в банк не для того, чтобы решить какой-нибудь повседневный финансовый вопрос, а чтобы открыть тайник, который мой отец оставил мне с загадочной фразой: «Ты всё поймёшь, сын».

Вскоре я подъехал к отделению Kantonal Zürcher Bank. Здание выглядело солидно и внушительно, хотя в нем не было ничего вызывающе роскошного. Современный фасад из стекла, камня и металла сочетался с более старой частью здания, а широкие окна отражали утреннее небо. Над входом находилась эмблема банка, а перед стеклянными дверями постоянно проходили люди. Кто-то торопливо заходил внутрь, прижимая к себе папку с документами, кто-то выходил с задумчивым выражением лица, а несколько человек стояли у банкоматов.

Внутри было значительно оживленнее, чем я ожидал. Клиенты сидели в креслах у консультантов, кто-то ждал своей очереди, кто-то разговаривал по телефону, а сотрудники банка переходили от одного посетителя к другому, обсуждая кредиты, счета, переводы, инвестиции и другие вещи, которые составляли обычную, хотя и весьма важную, часть человеческой жизни.

У входа меня встретил сотрудник банка лет пятидесяти, невысокий, плотный, с аккуратно подстриженными темными волосами, в безупречно сидевшем темном костюме и светло-голубой рубашке. Лицо у него было доброжелательное, но внимательное, а густые брови и чуть загорелая кожа сразу выдавали человека, который, вероятно, происходил из Южной Европы. Когда он заговорил со мной по-немецки, я заметил характерную мягкость произношения и легкий итальянский акцент.

— Чем могу помочь, сеньор? — спросил он.

Я достал удостоверение личности и свидетельство о смерти отца.

— Мой отец оставил банковскую ячейку, — сказал я. — Вот документы.

Сотрудник внимательно посмотрел сначала на удостоверение, потом на свидетельство. Его взгляд стал более сосредоточенным, и он несколько секунд сверял данные, после чего кивнул.

— Да, все ясно, — произнес он. Затем повернулся к проходившему мимо молодому коллеге и позвал его: — Проведите этого сеньора в отдел депозитов.

Молодой сотрудник оказался худощавым парнем лет двадцати пяти или двадцати семи. У него были светло-каштановые волосы, узкое лицо, тонкие губы и небольшие, тщательно подстриженные усики, которые придавали ему немного старомодный вид. На нем был темный костюм, белая рубашка и тонкий галстук. Двигался он быстро и аккуратно, явно привыкнув к банковской дисциплине.

Он взял мои документы, еще раз внимательно их проверил, затем вернул мне удостоверение и свидетельство.

— Да, конечно, — сказал он.

Мы прошли дальше, миновали основную клиентскую зону и оказались в более закрытой части здания. Здесь уже не было ни посетителей, ни привычного банковского шума. Молодой сотрудник открыл дверь своим пропуском, и мы начали спускаться по лестнице.

С каждым пройденным этажом становилось тише и прохладнее. Наконец внизу я увидел двух сотрудников службы безопасности Securitas. Они стояли у входа в защищенную зону, внимательно наблюдая за каждым, кто приближался к двери. На них была форменная одежда, а их присутствие сразу напоминало, что здесь находились вещи, которые банк считал настолько ценными и конфиденциальными, что доступ к ним был возможен только после строгой проверки.

Я посмотрел на тяжелую дверь перед собой и вдруг почувствовал, как внутри снова появилось то странное напряжение, которое преследовало меня последние дни. Я еще не знал, что именно находится в ячейке номер 2901. Но впервые за все время у меня возникло ощущение, что сейчас я действительно приближаюсь к ответу.

Мы оказались в большом подземном помещении, расположенном примерно в двадцати метрах под поверхностью земли. Здесь уже не ощущалось обычной банковской суеты, которая оставалась наверху, за тяжелыми дверями и несколькими уровнями защиты. Воздух был прохладным, сухим и совершенно неподвижным, а толстые стены из бетона и стали создавали ощущение места, которое было построено не столько для удобства людей, сколько для того, чтобы надежно отделить хранящиеся здесь вещи от всего остального мира.

Вдоль стен тянулись ряды металлических шкафов с небольшими индивидуальными дверцами и номерами. За каждой из них находилось то, что владельцы считали настолько ценным или важным, что не хотели хранить дома. Кто-то, вероятно, держал здесь золотые слитки или коллекционные монеты, кто-то — старинные рукописи, семейные документы, завещания, документы на недвижимость, ценные бумаги или какие-нибудь вещи, которые передавались в семье из поколения в поколение. Возможно, в отдельных ячейках находились произведения искусства, редкие часы, драгоценности или предметы, о существовании которых знали всего несколько человек.

Деньги в пачках здесь, наверное, встречались гораздо реже. Бумажные деньги вообще обладают неприятным свойством со временем терять свое первоначальное значение: меняются купюры, происходят деноминации, растет инфляция, государство выпускает новую валюту или просто меняется сама экономическая система. Золото, документы, редкие вещи или семейные реликвии в этом смысле представлялись более надежными. Бумажка с определенной цифрой может однажды перестать что-либо значить, а старая вещь иногда способна сохранять свою ценность столетиями.

Я шел вслед за банковским сотрудником между рядами металлических шкафов и постепенно начинал ощущать странное напряжение. Я понимал, что место совершенно обычное для

банка, но лично для меня оно было совсем не обычным. Я шел к ячейке, которую мой отец, умерший два года назад, оставил мне с короткой фразой: «Ты всё поймёшь, сын».

Наконец молодой сотрудник остановился.

— Ваша ячейка здесь, — сказал он, указав на небольшую металлическую дверцу.

На ней стоял номер 2901.

— Спасибо, — ответил я.

Сотрудник кивнул, еще раз убедился, что все в порядке, и вышел, оставив меня одного. Я некоторое время просто стоял перед ячейкой, не решаясь прикоснуться к замку. Это было странное ощущение: я знал, что внутри находится вещь, которую мой отец намеренно оставил мне, но совершенно не представлял, что именно. За последние дни я привык к странностям настолько, что уже почти перестал удивляться новым совпадениям, однако сейчас все равно чувствовал какое-то внутреннее сопротивление, словно за этой дверцей могло оказаться нечто, после чего моя прежняя жизнь окончательно перестанет быть прежней.

Я ввел код. Раздался сухой металлический щелчок. Я взялся за ручку и медленно открыл дверцу. Внутри находилась небольшая выдвижная металлическая кассета. Я просунул руку, взялся за ее край и потянул на себя.

К моему удивлению, кассета оказалась довольно тяжелой.

— Золото? — подумал я.

На секунду мне действительно пришла в голову мысль, что отец мог оставить мне какой-нибудь слиток или коллекционные монеты. Но чем дольше я думал об этом, тем менее правдоподобной казалась эта версия. Если бы речь шла просто о драгоценном металле, зачем было оставлять в Библии загадочную фразу «Ты всё поймёшь»? Что именно я должен был понять, глядя на кусок золота?

Я поставил металлическую кассету на небольшой столик, предназначенный для работы с содержимым банковских ячеек, и открыл ее. Внутри лежал деревянный ларец.

Я некоторое время смотрел на него, совершенно не понимая, что именно вижу. Это был небольшой прямоугольный сундук из темного дерева, изготовленный, судя по всему, много десятилетий назад, а возможно, и значительно раньше. Дерево потемнело от времени, местами приобрело почти черный оттенок, а на крышке и боковых стенках были заметны неглубокие царапины и следы старой ручной работы. Металлические уголки покрылись тусклой патиной, а небольшая застежка на передней стороне была потемневшей и потеряла первоначальный блеск.

Я осторожно взял ларец обеими руками. Именно тогда почувствовал запах. От него исходил характерный аромат старого дерева — сухой, глубокий, немного терпкий, с примесью запаха воска, пыли и чего-то еще, что я не мог определить. Это был не запах обычной старой мебели, которую можно найти на чердаке или в антикварной лавке. От ларца исходило странное ощущение давности, словно он долгое время находился в закрытом помещении, где десятилетиями никто не трогал его руками.

Я провел пальцами по крышке, ощущая неровности древесины.

— Что это?.. — тихо произнес я.

Я действительно не ожидал увидеть ничего подобного. В моем представлении банковская ячейка могла хранить деньги, драгоценности, документы, возможно, какую-нибудь семейную реликвию. Но старинный деревянный ларец, происхождение которого я не мог определить даже приблизительно, совершенно не вписывался ни в одну из моих прежних версий.

Я стоял возле стола и смотрел на него, пытаюсь понять, что все это значит. В голове одна за другой возникали мысли об отце, о его последних годах жизни, о Библии, которую он оставил мне, о странной записи на первой странице и о том, что он никогда прежде не говорил мне ни слова об этой ячейке. Потом я вспомнил Лилит, ее загадочную уверенность, с которой она говорила о христианских реликвиях, вспомнил Агасфера и его невероятную историю, его

настойчивые слова о какой-то реликвии и о том, что мой отец якобы знал гораздо больше, чем я когда-либо предполагал.

Мне вдруг стало ясно, что тайна, которую я пытался рассматривать как цепь случайных событий, могла существовать задолго до моего рождения. Возможно, она вообще не начиналась со встречи с Лилит. Возможно, она начиналась с моего отца. А может быть, еще раньше — с тех людей, о которых я даже ничего не знал.

Я снова посмотрел на старый ларец.

— Ладно, чего тянуть? — пробормотал я.

Если отец действительно хотел, чтобы однажды я все понял, то сейчас у меня впервые появился шанс узнать, что именно он имел в виду. Я положил ладонь на крышку, затем осторожно поднял защелку. И открыл ларец. Внутри он был обит красным бархатом, и на этом густом, почти винном фоне лежало нечто, завернутое в плотную шёлковую ткань синего цвета. Ни письма, ни расписки, ни какой-либо записки. Ничего. Я почувствовал лёгкое раздражение. Даже сейчас отец умудрялся оставлять после себя загадки, которые требовали разгадки. Я взял свёрток в руки и осторожно развернул ткань.

На моих ладонях оказалось нечто металлическое, похожее на вытянутый лист дерева. Наверное, наконечник копья. Только необычного цвета — почти белого, с холодным серебристым блеском, который особенно резко проступал в свете ламп. Я перевернул предмет. Он оказался тяжелее, чем выглядел. Я прикинул вес на ладони — около пятисот граммов. Форма действительно напоминала наконечник древнего оружия: продолговатое металлическое лезвие, чуть расширенное посередине и постепенно сужавшееся к острию. С обратной стороны находилась массивная часть, предназначенная, судя по всему, для крепления к древку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.